Императрица Екатерина II
Князь Г. А. Потемкин
В. А. Гоголь
Г. Р. Державин
Н. И. Новиков
В. А. Жуковский
Князь П. А. Вяземский
А. С. Грибоедов
В. Ф. Раевский

ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ

А. С. Пушкин
П. Я. Чаадаев
Н. П. Огарев
В. Г. Белинский
А. И. Герцен
И. А. Гончаров
Граф А. К. Толстой
Император Александр II
И. С. Тургенев
Л. Н. Толстой
Н. Г. Чернышевский
Г. И. Успенский
В. С. Соловьев
С. А. Есенин
А. П. Чехов
Император Николай II
А. В. Колчак
А. В. Тимирева
И. В. Сталин
М. И. Цветаева

СООТЕЧЕСТВЕННИКИ

В. В. Маяковский
Лиля Брик

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Продолжение одноименного бестселлера, сборник самых романтических и самых трогательных любовных писем, написанных нашими выдающимися соотечественниками своим возлюбленным в самые разные времена и эпохи, в самых разных жизненных обстоятельствах.

В этой книге собраны самые романтичные образцы эпистолярного жанра, незаслуженно забытого в наш век электронной почты и SMS-сообщений – уникальные любовные письма российских государственных деятелей, писателей и поэтов XVIII–XX веков.

Читая любовные письма наших великих соотечественников, мы понимаем, что человечество, в сущности, мало изменилось за последние две тысячи лет. Страсть, ревность, надежда – все эти эмоции мы найдем здесь наравне с простым удовольствием послать письмо и получить ответ от человека, которого ты любишь больше всего на свете. Мы увидим, что литературный талант – необязательное условие для искреннего письма любви, и совсем не важно, в какой форме оно написано и каким способом дойдет до адресата.

- Коллектив авторов
  - ○
  - ○
  - ○ Императрица Екатерина II
    - ■
    - ■ Императрица Екатерина II – князю Г. А. Потемкину
  - ○ Князь Г. А. Потемкин
    - ■
    - ■ Князь Г. А. Потемкин – Екатерине II
  - ○ Г. Р. Державин
    - ■
    - ■ Г. Р. Державин – невесте
  - ○ Н. И. Новико́в
    - ■
    - ■ Н. И. Новиков – П. В. Хрущевой
  - ○ В. А. Гоголь
    - ■
    - ■ В. А. Гоголь – невесте Марии Ивановне
  - ○ В. А. Жуковский
    - ■

- В. А. Жуковский – М. А. Протасовой
- В. А. Жуковский – М. А. Протасовой
- В. А. Жуковский – М. А. Протасовой

○ Князь П. А. Вяземский

-
- Князь П. А. Вяземский – жене, урожденной княгине Гагариной
- Князь П. А. Вяземский – жене, урожденной княгине Гагариной
- Князь П. А. Вяземский – жене, урожденной княгине Гагариной

○ А. С. Грибоедов

-
- А. С. Грибоедов – жене

○ В. Ф. Раевский

-
- В. Ф. Раевский – неизвестной

○ А. С. Пушкин

-
- А. С. Пушкин – невесте Н. Н. Гончаровой
- А. С. Пушкин – невесте Н. Н. Гончаровой
- А. С. Пушкин – невесте Н. Н. Гончаровой
- А. С. Пушкин – А. П. Керн
- А. С. Пушкин – неизвестной
- А. С. Пушкин – неизвестной

○ Е. С. Норова

-
- Е. С. Норова – П. Я. Чаадаеву

○ Е. Г. Левашёва

-
- Е. Г. Левашева – П. Я. Чаадаеву

○ Н. И. Надеждин

-
- Н. И. Надеждин – Е. В. Сухово-Кобылиной
- Н. И. Надеждин – Е. В. Сухово-Кобылиной
- Н. И. Надеждин – Е. В. Сухово-Кобылиной
- Н. И. Надеждин – Е. В. Сухово-Кобылиной

○ И. П. Галахов

-
- И. П. Галахов – М. Л. Огаревой
- И. П. Галахов – М. Л. Огаревой

○ М. Л. Огарева

-
- М. Л. Огарева – И. П. Галахову

- Н. П. Огарев
  -
  - Н. П. Огарев – невесте М. Л. Рославлевой, впоследствии его жене
  - Н. П. Огарев – М. Л. Рославлевой
  - Н. П. Огарев – М. Л. Рославлевой
  - Н. П. Огарев – М. Л. Рославлевой
- В. Г. Белинский
  -
  - В. Г. Белинский – невесте М. В. Орловой, впоследствии его жене
  - В. Г. Белинский – невесте М. В. Орловой, впоследствии его жене
- А. И. Герцен
  -
  - А. И. Герцен – Н. А. Захарьиной
  - А. И. Герцен – Н. А. Захарьиной
  - А. И. Герцен – Н. А. Захарьиной
  - А. И. Герцен – Н. А. Захарьиной
  - А. И. Герцен – Н. А. Захарьиной
  - А. И. Герцен – Н. А. Захарьиной
- Н. А. Захарьина
  -
  - Н. А. Захарьина – А. И. Герцену
  - Н. А. Захарьина – А. И. Герцену
  - Н. А. Захарьина – А. И. Герцену
  - Н. А. Захарьина – А. И. Герцену
  - Н. А. Захарьина – А. И. Герцену
  - Н. А. Захарьина – А. И. Герцену
- И. А. Гончаров
  -
  - И. А. Гончаров – Е. В. Толстой
  - И. А. Гончаров – Е. В. Толстой
  - И. А. Гончаров – Ю. Д. Ефремовой
  - И. А. Гончаров – Ю. Д. Ефремовой
- Граф А. К. Толстой
  -
  - Граф А. К. Толстой – С. А. Миллер, впоследствии его жене
  - Граф А. К. Толстой – С. А. Миллер
  - Граф А. К. Толстой – С. А. Миллер
  - Граф А. К. Толстой – С. А. Миллер
  - Граф А. К. Толстой – С. А. Миллер
  - Граф А. К. Толстой – С. А. Миллер

- Император Александр II
  -
  - Император Александр II – Екатерине Долгорукой
  - Император Александр II – Екатерине Долгорукой
- И. С. Тургенев
  -
  - И. С. Тургенев – Полине Виардо
  - И. С. Тургенев – Полине Виардо
  - И. С. Тургенев – Полине Виардо
  - И. С. Тургенев – Полине Виардо
  - И. С. Тургенев – Полине Виардо
  - И. С. Тургенев – Полине Виардо
- Л. Н. Толстой
  -
  - Л. Н. Толстой – С. А. Берс
- Н. Г. Чернышевский
  -
  - Н. Г. Чернышевский – жене
  - Н. Г. Чернышевский – жене
  - Н. Г. Чернышевский – жене
- Г. И. Успенский
  -
  - Г. И. Успенский – А. В. Бараевой, впоследствии его жене
  - Г. И. Успенский – А. В. Бараевой, впоследствии его жене
  - Г. И. Успенский – А. В. Бараевой, впоследствии его жене
- В. С. Соловьев
  -
  - В. С. Соловьев – Е. В. Романовой, впоследствии Селевиной
  - В. С. Соловьев – Е. В. Романовой, впоследствии Селевиной
  - В. С. Соловьев – Е. В. Романовой, впоследствии Селевиной
- А. И. Эртель
  -
  - А. И. Эртель – М. В. Огарковой, впоследствии его жене
- А.П. Чехов
  -
  - А. П. Чехов – О. Л. Книппер
  - А. П. Чехов – О. Л. Книппер

- А. П. Чехов – О. Л. Книппер
- О. Л. Книппер
  -
  - О. Л. Книппер – А. П. Чехову
- Император Николай II
  -
  - Император Николай II – жене Александре Федоровне
  - Императрица Александра Федоровна – Николаю II
- А. В. Колчак
  -
  - А. В. Колчак – А. В. Тимиревой
  - А. В. Колчак – А. В. Тимиревой
  - А. В. Колчак – А. В. Тимиревой
  - А. В. Колчак – А. В. Тимиревой
  - А. В. Колчак – А. В. Тимиревой
  - А. В. Колчак – А. В. Тимиревой
  - А. В. Тимирева – А. В. Колчаку
  - А. В. Тимирева – А. В. Колчаку
  - А. В. Тимирева – А. В. Колчаку
  - А. В. Тимирева – А. В. Колчаку
  - А. В. Тимирева – А. В. Колчаку
- И. В. Сталин
  -
  - И. В. Сталин – Н. С. Аллилуевой
  - Н. С. Аллилуева – И.В. Сталину
  - Н. С. Аллилуева – И. В. Сталину
  - И. В. Сталин – Н. С. Аллилуевой
  - Н.С. Аллилуева – И. В. Сталину
  - Н. С. Аллилуева – И. В. Сталину
  - И. В. Сталин – Н. С. Аллилуевой
- М. И. Цветаева
  -
  - М. И. Цветаева – К. Б. Родзевичу
- В. В. Маяковский
- Лиля Брик
  -
  - В. В. Маяковский – Лиле Брик
  - Лиля Брик – В. В. Маяковскому в Москву
  - Лиля Брик – В. В. Маяковскому в Москву
- С. А. Есенин
  -
  - С. А. Есенин – Г. А. Бениславской

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36

Коллектив авторов
Любовные письма великих людей. Книга третья. Соотечественники

© ООО «Издательство «Добрая книга», 2010

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)

Императрица Екатерина II (1684–1729)

…тебе Бог помогает и благословляет, ты покрыт славою, я посылаю к тебе лавровый венец, который ты заслужил…

София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская – такое имя при рождении получила дочь губернатора небольшого немецкого городка Штеттин. Но в историю она вошла как Великая русская императрица Екатерина II. Со стороны матери ее родословная восходит к королю Швеции. Именно королевские корни сделали Софию завидной невестой в глазах Елизаветы Петровны – царствующей в то время императрицы России. В 1744 г. будущая Екатерина была приглашена в Россию для обручения с наследником престола Петром Федоровичем (Петром III). Так шестнадцатилетняя София приняла православие под именем Екатерины Алексеевны. Брак молодых супругов (Петру было семнадцать лет) существовал лишь формально. Муж совершенно не проявлял интереса к своей жене. Отсутствие супружеских отношений способствовало появлению у Екатерины многочисленных любовников. Их число, по мнению авторитетного историка П. Бартенева, достигало двадцати трех! Самыми известными из них в разное время были: Сергей Салтыков (по некоторым сведениям – отец наследника престола Павла I), Григорий Орлов, Григорий Потемкин (впоследствии князь Таврический), последним фаворитом был корнет Платон Зубов.

Императрица Екатерина II – князю Г. А. Потемкину (15 ноября 1789 года)

Друг мой любезный, князь Григорий Александрович. Недаром я тебя люблю и жаловала, ты совершенно оправдываешь мой выбор и мое о тебе мнение; ты отнюдь не хвастун, и выполнил все предположения, и цесарцев выучил турков победить; тебе Бог помогает и благословляет, ты покрыт славою, я посылаю к тебе лавровый венец, который ты заслужил (но он еще не готов); теперь, мой друг, прошу тебя, не спесивься, не возгордись, но покажи свету великость своей души, которая в счастье столь же ненадменна, как и не унывает в неудаче…

Усердие и труд твой умножили бы во мне благодарность, если б она и без того не была такова, что увеличиться уже не может. Бога прошу да укрепить силы твои; меня болезнь твоя очень беспокоила (…). Нетерпеливо буду ожидать приезда Попова; будь уверен, что я для твоей вверенной армии генералитета все сделаю, что только возможно будет, равномерно и для войска: их труды и рвение того заслужили. Как обещанную записку о цесарских награждениях получу, то и тебе скажу мое мнение. Любопытна я видеть письма Волосского господаря и капитана-паши бывшего о перемирии и твои ответы; все сие уже имеет запах мира, и тем самым непротивно. План о Польше, как его получу, то рассмотрю и не оставлю тебе, как скоро возможно, дать решительный ответ. В Финляндии начальника переменить крайне нужно, ни в чем на теперешнего положиться нельзя; в Нейшлот я сама принуждена была послать соль отсюда, ибо люди без соли в крепости; я велела мясо дать людям, а он мясо

поставил в Выборг, где мясо сгнило без пользы; ни на что не решится; одним словом, неспособен к предводительству, и под ним генералы шалят и интригуют, а дела не делают, когда прилично; из сего можешь судить, сколько нужно сделать перемен там. Присланного от тебя молодца я пожаловала полковником и в флигель-адъютанты за добрые вести. За весьма ласковый твой прием они крайне благодарны; брат их Димитрий женится у Вяземского на третьей дочери.

Князь Г. А. Потемкин (1739–1791)

Ежели моя жизнь чего-нибудь стоит, то в подобных обстоятельствах скажите только, что вы здоровы…

Григорий Александрович Потемкин родился в семье среднепоместного смоленского дворянина. Участвуя в государственном перевороте 1762 г., он обратил на себя внимание будущей императрицы Екатерины II.

Биография Григория Потемкина полна военных побед, государственных заговоров, политических интриг, спадов и восхождений. Но через все события его жизни красной нитью проходит имя императрицы и его возлюбленной Екатерины. Между ними был даже заключен тайный морганатический брак.

Хотя любовь Г. А. Потемкина и Екатерины Великой нельзя назвать кристально чистой, все же их близость друг к другу ощущалась до самой смерти. Первым умер князь Потемкин. Екатерина больно и долго переживала это несчастье. Отзывы о Потемкине после смерти, как и при жизни, были различны. Одни называли его злым гением императрицы, «князем тьмы», другие – в том числе и сама Екатерина II – великим и гениальным человеком. Недаром в одном из своих писем князю императрица написала: «…Я посылаю к тебе лавровый венец, который ты заслужил… не возгордись, но покажи свету великость своей души…»

Князь Г. А. Потемкин – Екатерине II (Получено по почте, 23 июня 1790 года)

Матушка всемилостивейшая государыня!

Давно уже написав мое отправление, ожидал всякий день возвращения из посланных моих к визирю; получа первое теперь, подношу копию с письма визирского.

Матушка родная, при обстоятельствах, вас отягощающих, не оставляйте меня без уведомления; неужели вы не знаете меру моей привязанности, которая особая от всех; каково мне слышать со всех сторон нелепые новости и не знать, верно ли или нет. Забота в такой неизвестности погрузила меня в несказанную слабость: лишась сна и пищи, я хуже младенца. Все видят мое изнурение. Ехать в Херсон, сколько ни нужно, не смогу двинуться.

Ежели моя жизнь чего-нибудь стоит, то в подобных обстоятельствах скажите только, что вы здоровы.

Положение шведского флота столь нам, по милости Божьей, полезно, что остается довершить, что должно учинять, как можно скорей; ежели пойдет вдаль, могут случиться разные обстоятельства, а паче от погоды. Есть в арсенале пушки длинные, которые носят на дальнюю дистанцию; поставя на суда, какого ни на есть роду, гальоты и другие годятся, ими не подвергался выстрелам, бить можно.

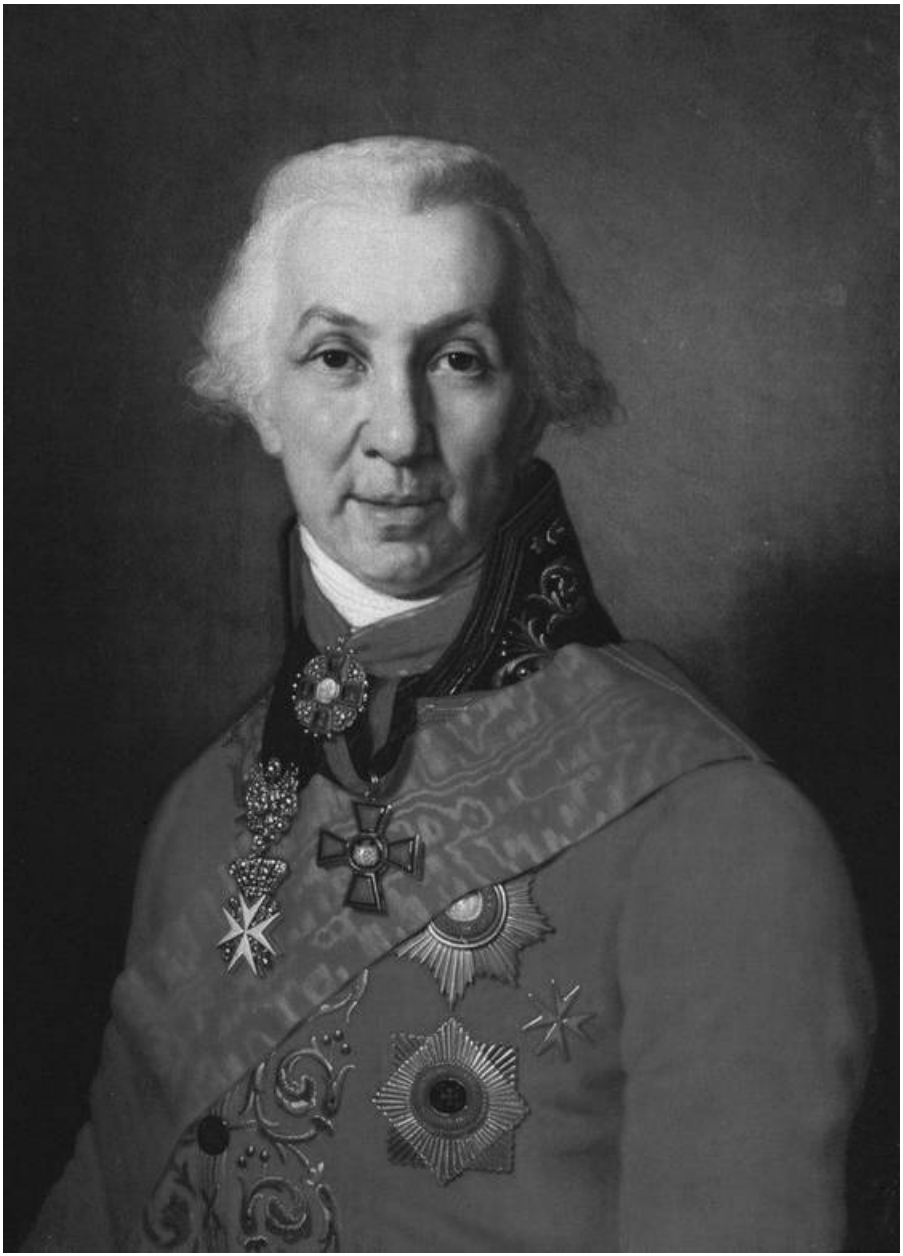
Мортиры морские пятипудовые, с медными платформами, посылают бомбы на четыре версты, а всего лучше, положа надежду на Христа Спасителя, идти прямо.

Как слабость пройдет, отправлю курьера с подробным описанием неприятельского положения.

Пока жив, вернейший и благодарнейший подданный

князь Потемкин Таврический.

Корнета моего[1] я паче и паче люблю за его вам угодность; о брате его я все приложу попечение сделать его годным в военном звании, в котором проведу чрез все наши мытарства; не упущу ничего к его добру, а баловать не буду.



Г. Р. Державин (1743–1816)

Миленушка, душа моя, я сегодня к тебе не буду… Завтра увижу тебя, моего друга, и расцелую.

Русский поэт эпохи Просвещения, государственный деятель, Гаврила Романович Державин родился в городе Казани. Литературная и общественная известность пришла к Гавриле Державину в 1782 г., после написания оды «Фелица», которая восхваляла императрицу Екатерину II.

В 1795 г. на Державина неожиданно обрушивается горе, умирает его первая, горячо любимая жена. Через полгода после ее смерти Гаврила женится вновь, на Дарье Алексеевне Дьяковой. Как признается сам поэт, «не по любви, а чтобы, оставшись вдовцом, не сделаться распутным». Однако письма невесте полны теплой заботы и нежности.

До конца жизни супруги прожили душа в душу и были похоронены рядом, близ Варлаамо-Хутынского монастыря в Великом Новгороде.

Г. Р. Державин – невесте (Приведенное письмо относится к 1794–1795 гг. и писано на простых лоскутках бумаги с надписью на обороте «Дарье Алексеевне»)

Извини меня, мой милый друг, что тебя сегодня не увижу. К обеду не мог быть для того, что нужда была быть у Васильева, а ввечеру кое-кто заахали, а между тем признаюсь, что готова баня, то уже не попаду к вам. Между тем целую тебя в мыслях и кланяюсь всем, а более матушке Вашей. Завтра где Вас найду, прошу уведомить; но не буду прежде, как после обеда, ибо Арбенев приехал и хотел завтра ко мне обедать.

Каково ты, мой милый и сердечный друг, почивала? Я думаю, обеспокоена вчерашним вздором. Плюнь, матушка, на враки: довольно, – я твой. Возвращаю братца твоего письмо. Я еду к Арбеневу поутру сам хлопотать за твоего Поздеена и за Марьи Алексеевны Беклемишева. То ли вам не честь, что скачет по вашим комиссиям сенатор? Поеду в сенат. Не знаю, где обедаю; но только у вас буду. Будь, мой друг, спокойна.

Миленушка, душа моя, я сегодня к тебе не буду, для того, что надобно к понедельнику множество написать писем, которые я запустил, а на вечер пойду в баню. Завтра увижу тебя, моего друга, и расцелую. Посылаю к Николаю Александровичу три оды[2] разных сочинителей, как-то: Ржевского, Карабанова и еще одного какого-то офицера, или Ржевского, у него есть (sic): попроси, чтоб он их связал вместе с Рубановой и спрятал для любопытства впредь.

Н. И. Новико́в (1744–1818)

Я рекомендую себя в вашу любезность, прошу любить меня столько же, сколько любит меня Николай Иванович, а больше я и не требую.

Выходец из семьи мелкого дворянина, Николай Иванович Новиков известен как издатель журнала «Трутень», в котором критикует высшее общество.

Особый этап жизни Николая Ивановича связан с вступлением в масонскую ложу. Однако за свою связь с масонами Новиков поплатился заключением. Он обвинялся в «гнусном расколе, в корыстных обманах, в деятельности масонской».

Освобожденный Павлом I в 1796 г., Николай Иванович Новиков вышел из заключения изможденным стариком. Он вынужден был отказаться от всякой общественной деятельности и до самой смерти прожил почти безвыездно в подмосковной усадьбе Авдотьино, заботясь лишь о нуждах своих крестьян.

Кроме журналистских, критических статей и писем в архиве Н. И. Новикова были обнаружены и нежные романтические послания. Как ни странно, они были адресованы жене племянника Новикова – Павле Владимировне Хрущевой. Николай Иванович часто так к ней и обращался: «Любезная моя племянница…»

Н. И. Новиков – П. В. Хрущевой (Село Тихвинское, 5 октября 1807 года)

Милостивая государыня, любезная племянница Павла Владимировна![3]

Приятное письмо ваше я имел удовольствие получить чрез любезного вашего супруга верно: сколько приятно мне намерение ваше посетить нас, столько ж неприятно не исполнение оного, хотя погода и дорога оправдывают отсрочку сего приятного свидания. Я рекомендую себя в вашу любезность, прошу любить меня столько же, сколько любит меня Николай Иванович, а больше я и не требую. Что касается до меня, то я постараюсь заслужить оную. Верное слово, данное Николаю Ивановичу, что вы и он посетите нас приближающеюся зимою, умерило нетерпеливость нашу вас увидеть и познакомиться.

Впрочем, пожелав вам доброго здоровья, остаюсь навсегда с искреннею любовию и дружеством вашим верным и покорным слугою.

Н. Новиков

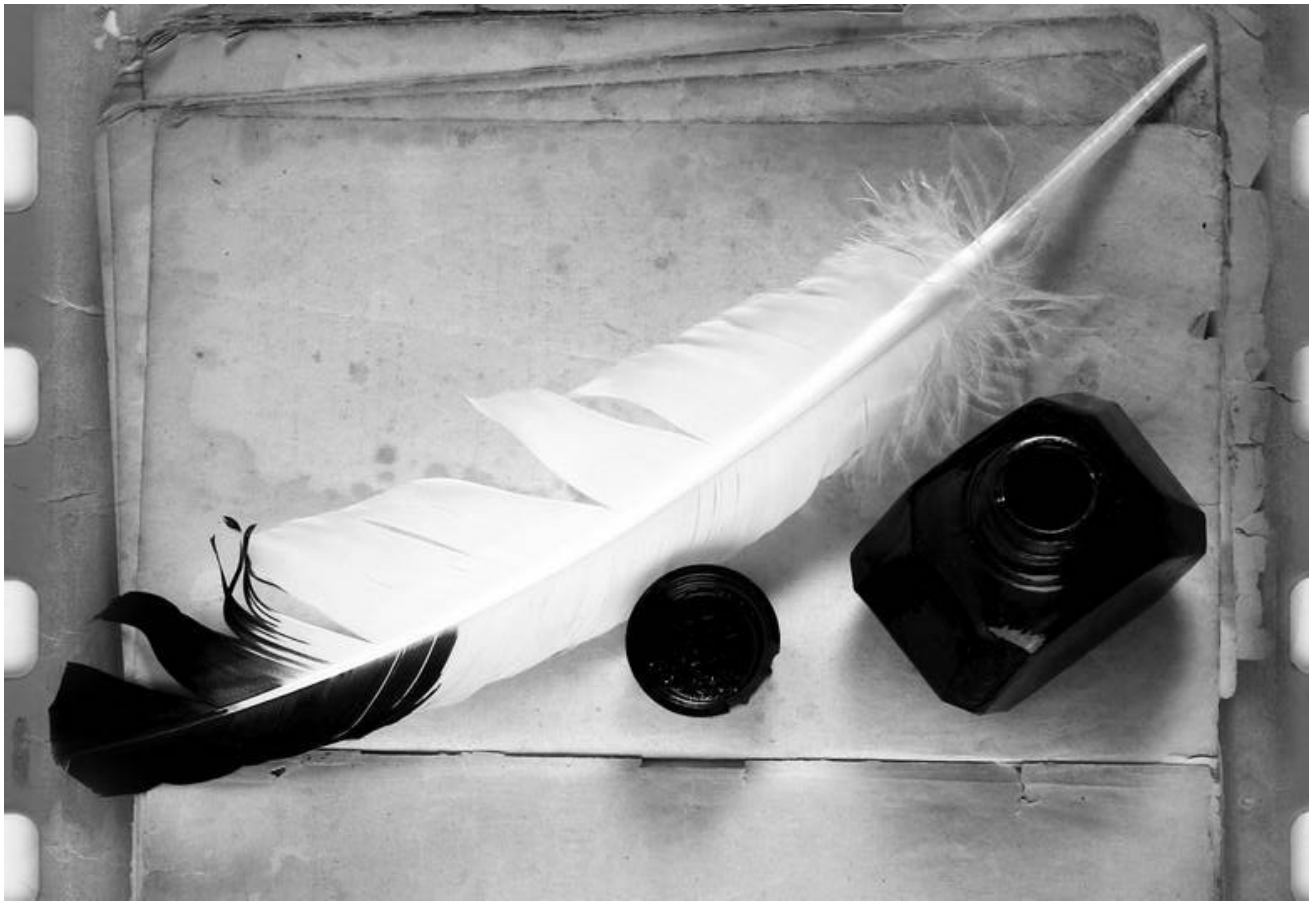
В. А. Гоголь (1777–1825)

Уверяю вас, что никого в свете и не может столь сильно любить, сколько любит вас и почитает ваш вечно вернейший друг, несчастный Василий…

Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский – украинский и русский писатель, поэт, драматург, государственный служащий. Отец Николая Васильевича Гоголя.

Согласно семейной традиции он обучался в Полтавской семинарии. Проработав некоторое время в почтовом ведомстве, он вышел в отставку, чтобы вести хозяйство.

Важное место в жизни писателя занимал домашний театр, директором и актером которого он являлся. Для своего театра Василий Афанасьевич придумал несколько водевилей из украинского народного быта и сказок. До нас дошла лишь одна комедия «Простак, или Хитрость женщины, перехитренная солдатом». Василий Гоголь писал также стихи на русском и украинском языках. Друзья отмечали, что Василий Афанасьевич был «бесподобный рассказчик». В 28 лет Василий Гоголь женился на четырнадцатилетней Марии Ивановне Косяровской. По отзывам современников, она была исключительно хороша собой. Своей юной невесте Василий Афанасьевич, обладая литературным талантом, написал немало любовных посланий.



В. А. Гоголь – невесте Марии Ивановне

Милая Машенька!

Многие препятствия лишили меня счастья сей день быть у вас! Слабость моего здоровья наводит страшное воображение, и лютое отчаяние терзает мое сердце. Прощайте, наилучший в свете друг! Прошу вас быть здоровой и не беспокоиться обо мне. Уверяю вас, что никого в свете и не может столь сильно любить, сколько любит вас и почитает ваш вечно вернейший друг, несчастный Василий… Прошу вас, не показывайте сего несчастного выражения страсти родителям вашим. И сам не знаю, как пишу.

В. А. Жуковский (1783–1852)

Можно ли, милый друг, изменить великому чувству, которое нас вознесло выше самих себя! Жизнь, освященная этим великим чувством, казалась мне прелестною!

Основоположник романтизма в русской поэзии, автор первого официального гимна России, Василий Андреевич Жуковский прославился не только на литературном поприще, но и как наставник наследника престола, будущего императора Александра II. Известно, что Жуковский был его верным другом, во многом повлиявшим на становление взглядов и характера императора.

Личная жизнь Василия Жуковского, в отличие от государственной, не складывалась. Романтик Жуковский был страстно влюблен в свою племянницу – Марию Протасову. Но ее мать была категорически против такого брака, считая родство слишком близким. М. Протасовой пришлось выйти замуж за другого. Вскоре она умерла, не успев позабыть милого сердцу поэта. Жуковский же всю жизнь хранил память о ней, воспевая свое чувство в нежных и меланхолических стихах: «Голос с того света», «Утешение в слезах» и др. Только к 60 годам он женился в Германии на 18-летней дочери своего старого друга полковника Рейтерна.

В. А. Жуковский – М. А. Протасовой (Муратово, весна 1815 года)

Милая Маша, нам надобно объясниться. Как прежде от тебя одной я требовал и утешения, и твердости, так и теперь требую твердости в добре. Нам надобно знать и исполнить то, на что мы решились, дело идет не о том только, чтобы быть вместе, но и о том, чтобы этого стоить. Следовательно, не по одной наружности исполнять данное слово, а в сердце быть ему верными. Иначе не будет покоя, иначе никакого согласия в чувствах между мною и маменькой быть не может. Сказав ей решительно, что я ей брат, мне должно быть им не на одних словах, не для того единственно, чтобы получить этим именем право быть вместе. Если я ей говорил искренно о моей к тебе привязанности, если об этом и писал, то для того, чтобы не носить маски – я хотел только свободы и доверенности. Это нас рознило с нею. Теперь, когда все, и самое чувство, пожертвовано, когда оно переменилось в другое лучшее и нежнейшее, нас с нею ничто не будет рознить. Но, милый друг, я хочу, чтобы и ты была совершенно со мною согласна, чтобы была в этом мне и примером и подпорою, хочу знать и слышать твои мысли.

Как прежде, ты давала мне одним словом и бодрость, и подпору; так и теперь ты же мне дашь и всю нужную мне добродетель. Чего я желал? Быть счастливым *с тобою*! Из этого теперь должен выбросить только одно слово, чтобы все заменить. Пусть буду счастлив *тобою*! Право, для меня все равно *твое счастье* или *наше счастье*. Поставь себе за правило все ограничить одной собою, поверь, что будешь тогда все делать и для меня. Моя привязанность к тебе теперь точно без примеси собственного и от этого она живее и лучше. Уж я это испытал на деле – смотря

на тебя, я уже не то думаю, что прежде, если же на минуту и завернется старая мысль, то всегда с своим дурным старым товарищем, грустью, стоит уйти к себе, чтобы опять себя отыскать таким, каким надобно, а это еще теперь, когда я от маменьки ничего не имею, когда я еще ей не брат – что ж тогда, когда и она со своей стороны все для меня сделает. Я уверен, что грустные минуты пропадут и место их заступят ясные, тихие, полные чистою к тебе привязанности. Вчера за ужином прежнее немножко что-то зацепило меня за сердце – но, воротясь к себе, я начал думать о твоем счастье, как о моей теперешней заботе. Боже мой, как это меня утешило! Как еще много мне осталось! Не лиши же меня этого счастья! Переделай себя совершенно и будь этим мне обязана! Думай беззаботно о себе, все делай для себя – чего для меня боле? Я буду знать, что я участник в этом милом счастье! Как жизнь будет для меня дорога! Между тем я имею собственную цель – работа для пользы и славы! Не легко ли будет работать? Все пойдет из сердца и все будет понятно для добрых! Напиши об этом твои мысли – я уверен, что они и возвысят, и утвердят все мои чувства и намерения.

Я сейчас отдал письмо маменьке. Не знаю, что будет. В обоих случаях, Perseverence! Меня зовут! чудо – сердце не очень бьется. Это значит, что я решился твердо…

…Мы говорили – этот разговор можно назвать холодным толкованием в прозе, того, что написано с жаром в стихах. Смысл тот же, да чувства нет. Она мне сказала, чтоб я до июля остался в Петербурге – потом увидит. Одним словом, той сестры нет для меня, которой я желаю и которая бы сделала мое счастье. Еще она сказала: дай время мне опять сблизиться с Машею, ты нас совсем разлучил. Признаюсь, против этого нет возражения, и если это так, то мне нет оправдания; и я поступаю, как эгоист, желая с вами остаться! В самом деле! Чего я хочу? Опять только своего счастья? Надобно совсем забыть о нем! Словами и объяснениями его не сделаешь! Маша, чтобы иметь полное спокойствие, не должно ли тебе возвратить мне всех писем моих? Ты знаешь теперь нашу общую цель. Твое счастье! Быть довольным собою! У тебя есть Фенелон и твое сердце. Довольно! Твердость и спокойствие, а все прочее Промыслу.

В. А. Жуковский – М. А. Протасовой (Дерпт, весна, март 1815 года)

Расположение, в каком к тебе пишу, уверяет меня, что я не нарушаю своего слова тем, что к тебе пишу. Надобно сказать все своему другу. Я должен непременно тебе открыть настоящий образ своих мыслей. Маша *моя* (теперь *моя* более, нежели когда-нибудь), поняла ли ты то, что заставило меня *решительно* от тебя отказаться? Ангел мой, совсем не мысль, что я желаю беззаконного – нет! Я никогда не переменю на этот счет своего мнения и верю, что я был бы счастлив и что Бог благословил бы нашу жизнь! Совсем другое и гораздо лучшее побуждение произвело во мне эту перемену! твое собственное счастье и спокойствие! Решившись на эту жертву, я входил во все права твоего отца. Другая, нежнейшая связь! Право, эта минута была для меня божественная; если можно слышать на земле голос Божий, то, конечно, в эту минуту он мне послышался! С этим чувством все для меня переменилось, все отношения к тебе сделались другие, я почувствовал в душе необыкновенную ясность; то, чего я никогда не имел в жизни, вдруг сделалось моим; я увидел подле себя сестру и сделался другом, покровителем, товарищем ее детей; я готов был глядеть на маменьку другими глазами и, право, восхищался тем чувством, с каким бы называл ее сестрою – ничего еще подобного не бывало у меня в жизни! Имя сестры в первый раз в жизни меня тронуло до глубины сердца! Я готов был ее обожать; ни в ком, ни в ком (даже и в вас) не имела бы она такого неизменного друга, как во мне; до сих пор имя сестры меня только пугало, оно казалось мне разрушителем моего счастья; после совершенного пожертвования собою оно показалось мне самым лучшим утешением, совершенною всего заменою; Боже мой, какая прекрасная жизнь мне представилась! Самое деятельное, самое ясное усовершенствование себя во всем добром! Можно ли, милый друг, изменить великому чувству, которое нас вознесло выше самих себя! Жизнь, освященная этим великим чувством, казалась мне прелестною! Если прежде, когда моя привязанность к тебе была непозволенною, я имел в иные минуты счастье; что же теперь, когда душа от всякого бремени облегчилась и когда я имею право быть довольным собою! Раз испытав прелесть пожертвования, можно ли разрушить самому эту прелесть! С этим великим чувством как бы счастливые шли мои минуты! Вместо своего частного счастья иметь в виду общее, жить для него и находить

все оправдание в своем сердце и в вашем уважении; быть вашим отцом (брат вашей матери имеет на это имя право), называть вас своими и заботиться о вашем счастье – чем для этого не пожертвуешь! И для этого я всем пожертвовал! Так что и следу бы не осталось скоро в душе моей! Даже в первую минуту я почувствовал, что над собою работать нечего – стоило только понять меня; подать мне руку сестры! стоило ей только вообразить, что брат ее встал из гроба и просится опять в ее дом, или лучше вообразить, что ваш отец жив и что он с полною к вам любовью хочет с вами быть опять на свете. С этими счастливыми, скажу смело, добродетельными чувствами соединялась и надежда вести самый прекрасный образ жизни. Осмотревшись в Дерпте, я уверен, что здесь работал бы я так, как нигде нельзя работать – никакого рассеяния, тьма пособий и ни малейшей заботы о том, чем бы прожить день, и при всем этом первое, единственное мое счастье – семья. С таким чувством пошел я к ней, *к моей сестре*. Что же в ответ? Расстаться! Она уверяет меня, что не от недоверчивости, – а для сохранения твоей и ее репутации! Милая, эта последняя причина должна бы удержать ее еще в Муратове. Там можно было того же бояться, чего и здесь. Но в Муратове она решилась возвратить меня, несмотря на то, что в своих письмах я говорил совсем противное тому, что теперь говорю и чувствую, нет! эта причина не справедливая! или должно было меня еще остановить в Москве! И теперь в ту самую минуту, когда я только думал начать жить прекраснейшим образом, все для меня разрушено! Я не раскаиваюсь в своем пожертвовании – можно ли раскаяться когда-нибудь в том, что возвышает душу! Но я надеялся им заплатить за счастье, и я был бы истинно счастлив, если бы она только этого захотела! если бы она прямо мне поверила; если бы поняла, как чисто и свято то чувство, которым я был наполнен. Что же дают мне за то счастье, которого я требовал? Самую печальную жизнь без цели и прелести! Служить – спрашиваю: для каких выгод? отказаться от всякого занятия? В Петербурге я не мог бы заниматься, если бы и имел состояние! Убийственное рассеяние утомило бы душу!

Трудиться для денег! Прощай, энтузиазм! единственное, что осталось! Ремесленничество не сходно ни с каким энтузиазмом; но и без него рассеяние погубило бы энтузиазм! все разом вдребезги, и счастье, которое вдруг представилось бы мне столь ясным, и труд свободный, замена за счастье! Нет, милая! Голос брата не дошел до ее сердца! Чтобы тронуть его, я, видно, не имею никакого языка! Я сделаюсь дорог тогда разве, когда меня не будет на свете! Этот страх расстроит репутацию, есть только придирка! Почему же он теперь именно, когда все причины к

недоверчивости совершенно разрушились, пришел в голову! Для чего вырвать меня из Долбино? Само по себе разумеется, что против этой причины я не мог ничего сказать! Я готов во всяком случае быть за тебя жертвою, но надобно, чтобы жертва была необходима! Здесь каких толков бояться? Кто подаст к ним повод? А прежние толки пропадут сами собою! Да я первый все усилия употреблю, чтобы все привести в порядок! Между тем мы были бы счастливы, счастливы в своей семье, и свидетель был бы у нас Бог! О! как бы весело было помогать друг другу вести жизнь добродетельную! Я чувствую, я уверен, что было бы легко и что мне даже и усилий никаких не было бы нужно делать над собою! Теперь что мне осталось? Начинать новую жизнь без цели, без бодрости, и за каким счастьем гнаться? Так и быть! Все в жизни к прекрасному средство! Но сердце ноет, когда подумаешь, чего и для чего меня лишили.

В. А. Жуковский – М. А. Протасовой (Дерпт, весна, 25 марта 1815 года)

Милый друг, надобно сказать тебе что-нибудь в последний раз. У тебя много останется утешения; у тебя есть добрый товарищ: твоя смирная покорность Провидению. Она у тебя не на словах, а в сердце и на деле. Что могу сказать тебе утешительнее того, что скажет тебе лучшая душа, какая только была на свете, твой Фенелон, которого ты понимать можешь. Я благодарю тебя за то, что ты его мне вчера присылала. Теперь знаю, что у тебя есть неразлучный товарищ, и такой, который всегда умеет дать твердость, надежду и ясность. Я знаю теперь, что каждый день доставит тебе прекрасную минуту. Стоит только войти в себя, поговорить с добрым, нельстивым другом, и все, что вокруг тебя, примет другой вид. Читай же эту книгу беспрестанно. В дополнение к Фенелону пришлю тебе Массильона. Теперь чтение для тебя не занятие, а жизнь и усовершенствование сердца и мыслей. Пусть это чтение напоминает тебе обо мне, о человеке, который желал быть твоим товарищем во всем добром. Я никогда не забуду, что всем тем счастьем, какое имею в жизни, обязан тебе, что ты мне давала лучшие намерения, что все лучшее во мне было соединено с привязанностью к тебе, что, наконец, тебе же я был обязан самым прекрасным движением сердца, которое решилось на пожертвование тобою, – опыт, самый благодетельный на всю жизнь; он уверяет меня, что лучшие минуты в жизни те, в которые человек забывает себя для добра и забывает не на одну минуту. Сама можешь судить, что в этом воспоминании о тебе заключены будут все мои должности. Пропади оно – я все потеряю. Я сохраню его, как свою лучшую драгоценность. Я вверяю себя этому воспоминанию и, право, – не боюсь будущего. Что может теперь в жизни сделаться ужасного для меня, собственно? Во всех обстоятельствах я буду стараться быть таким же, каков теперь. Обстоятельства – дело Провидения. Мысли и чувства в этих обстоятельствах – вот все, что мы можем. И в этом-то постараюсь быть тебя достойным. Впрочем, останемся беззаботны. Все в жизни к прекрасному средство! Я прошу от тебя только одного – не позволяй тобою жертвовать и заботься о своем счастье. Этим ты мне обязана. Я желал бы, чтобы ты боле имела свободы заниматься собственным. Выпроси у маменьки несколько часов в дни для чтения – в этом чтении прямая твоя жизнь. Но не читай ничего, что бы было только для пустого развлечения. Малое, но питательное для такого сердца, как твое. Меня утешает

теперь мысль, что маменька будет должна теперь к тебе более прежнего привязаться. Против остального – терпение и твердость. Мои тетрадки сбереги. В них нечего переменять, кроме разве одного – везде сестра. Помни же своего брата, своего истинного друга. Но помни так, как он того требует, то есть знай, что он, во все минуты жизни, если не живет, то, по крайней мере, желает жить так, как велит ему его привязанность к тебе, теперь вечная и более, нежели когда-нибудь, чистая и сильная.

Об Воейкове скажу только одно слово. Мне ему прощать нечего. Слепому человеку нужно ли прощать его слепоту? Но каким же убеждением можно заставить себя верить, что он зрячий. Человек, который имеет полную власть осчастливить тебя и который не только этого не делает, но еще делает противное, может ли носить название человека? Этого простить нельзя. Даже трудно удержаться от ненависти. Я не могу и не хочу притворяться. Между им и мною нет ничего общего. Я…

(*Две строчки зачеркнуты.*)

…Ты мне напомнишь: все к жизни к великому средство! Дай мне способ сделать ему добро: я его сделаю. Но называть белое черным и черное белым и уважать и показывать уважение к тому, что… (*несколько слов зачеркнуто*)…в этом нет величия; это притворство перед собою и другими.

В этом письме мне не должно бы было говорить о Воейкове. Но должно было отвечать на твое письмо. Я никак не ожидал, чтобы мое пожертвование было так принято. Нет! меня хотят лишить всякого счастья! Но ты не бойся! Жизнь моя будет тебя стоить! Выключая наперед из нее минуты унылости и сомнения, все прочее будет так, как тебе надобно. Тургенев зовет меня к себе, мы будем жить вместе. У меня есть семья друзей и твое уважение. Я богат. Остальное – Провидению. Дурного быть не может, если сам не будешь дурен. А у меня есть верная защита от всего: воспоминание и perseverence.

Я бы желал, чтобы ты написала мне поболее.

Это было написано вчера поутру. Маша, откликнись. Я от тебя жду всего. У меня совершенно ничего не осталось. Ради Бога, открой мне глаза. Мне кажется, что я все потерял.

Князь П. А. Вяземский (1792–1878)

Благодарю тебя тысячу раз за письма, которые одни служат мне утешением в горести моей и занятием осиротелого сердца.

Петр Андреевич Вяземский – наследник древнего княжеского рода, известный своим стихотворным «Посланием Жуковскому в деревню» и критическими статьями. Был в дружеских отношениях с большей частью писателей, принадлежавших к высшему слою общества: Н. М. Карамзиным, В. А. Жуковским, А. С. Пушкиным и Е. А. Баратынским. Легко увлекающийся молодой князь горячо воспринимал их либеральные идеи. И свои убеждения открыто высказывал в стихах, частных письмах и беседах. За что в 1820 г. был снят со всех должностей и попал под тайный надзор. Опала сменила его взгляды на более реакционные и консервативные, он примирился с правительством.

Смерть его жены княгини Гагариной, как и смерть всех близких ему людей, привела Вяземского к глубокой меланхолии и депрессии. Он чувствовал себя одиноким и заброшенным в последние годы жизни и иногда в своих произведениях критиковал современность, но чаще с доброй грустью уходил в далекие воспоминания о прошлом, о друзьях, о жене.

Князь П. А. Вяземский – жене, урожденной княгине Гагариной (21 августа 1812 года)

Я сейчас получил твое письмо с двумя образами и повесил их на шею, как ты мне велела. Я их не сниму, милый мой друг, ты можешь быть в том уверена. Повторяю тебе мою просьбу писать ко мне чаще, а ты не забывай, что я из Москвы уезжаю и что, следственно, ты, может быть, писем от меня на каждой почте и не будешь получать.

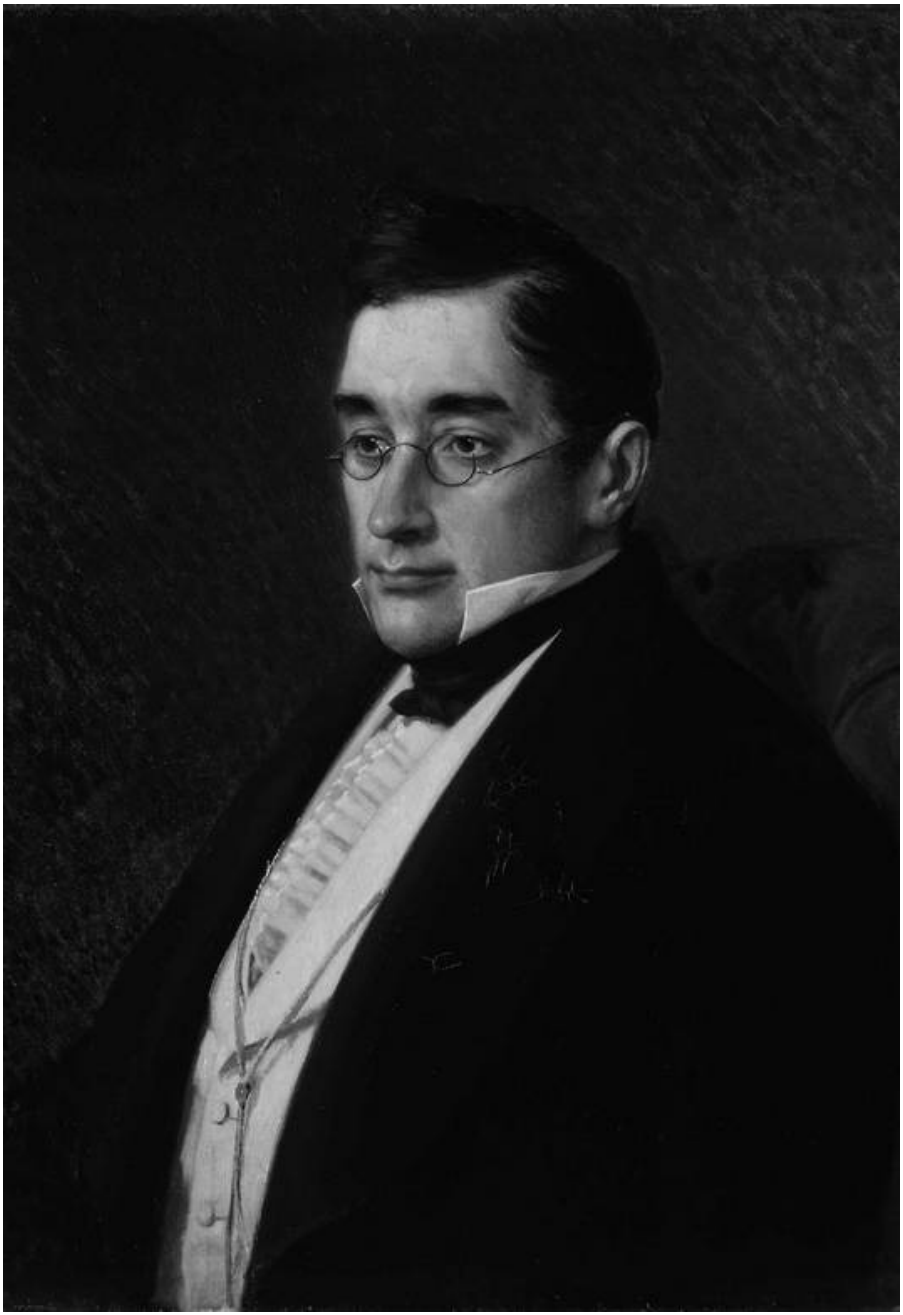
Молчание мое тебя не должно беспокоить, ибо если я занемогу, то армия так близка, что тотчас перешлют меня в Москву, как и многих уже переслали. Притом же дурные известия всегда скоро доходят. Итак, заклинаю тебя, милая моя Вера, как можно более покоряться рассудку и не предаваться всем страхам, которые будет рождать в тебе воображение и нежная твоя ко мне любовь. Молись Богу обо мне, я об тебе, и все пойдет хорошо. Посылаю тебе письмо от Прасковьи Юрьевны и советую тебе отвечать ей по первой почте, что ты получила ее письмо уже в Ярославле и что если я тебя туда, а не к ним отправил, так это оттого, что в этом городе можно найти более помощи в родах, чем в другом. Обнимаю тебя нежно и в поцелуе моем передаю тебе душу мою. Катерине Андреевне и детям – мой поклон.

Князь П. А. Вяземский – жене, урожденной княгине Гагариной (Москва, 24 августа 1812 года)

Я сейчас еду, моя милая. Ты, Бог и честь будут спутниками моими. Обязанности военного человека не заглушат во мне обязанностей мужа твоего и отца ребенка нашего. Я никогда не отстану, но и не буду кидаться. Ты небом избрана для счастья моего, и захочу ли я сделать тебя навек несчастливою? Я буду уметь соглашать долг сына отечества с долгом моим и в рассуждении тебя. Мы увидимся, я в этом уверен. Молись обо мне Богу. Он твои молитвы услышит, я во всем на Него полагаюсь. Прости, дражайшая моя Вера. Прости, милый мой друг. Все вокруг меня напоминает тебя. Я пишу к тебе из спальни, в которой столько раз прижимал я тебя в свои объятия, а теперь покидаю ее один. Нет! мы после никогда уже не расстанемся. Мы созданы друг для друга, мы должны вместе жить, вместе умереть. Прости, мой друг. Мне так же тяжело расставаться с тобою теперь, как будто бы ты была со мною. Здесь, в доме, кажется, я все еще с тобою: ты здесь жила; но – нет, ты и там, и здесь со мною неразлучна. Ты в душе моей, ты в жизни моей. Я без тебя не мог бы жить. Прости! Да будет с нами Бог!

Князь П. А. Вяземский – жене, урожденной княгине Гагариной (Москва, 30 августа 1812 года)

Я в Москве, милая моя Вера. Был в страшном деле и, слава Богу, жив и не ранен, но, однако же, не совершенно здоров, а потому и приехал немного поотдохнуть. Благодарю тебя тысячу раз за письма, которые одни служат мне утешением в горести моей и занятием осиротелого сердца. Кроме тебя, ничто меня не занимает, и самые воинские рассеяния не дотрагиваются до души моей. Она мертва: ты, присутствие твое, вот – ее жизнь; все другое чуждо ей. Князь Федор весьма легко ранен в руку и едет также в Москву с князем Багратионом, который получил довольно важную рану в ногу. Он велел тебя нежно обнять. Дело было у нас славное, и французы крепко побиты, но, однако ж, армия наша ретировалась. Прошу покорно понять. Делать нечего; есть судьба, она всем управляет, нам остается только плясать под ее дудку. Прости, любезнейший друг моего сердца. Будь здорова и уповай на Бога. Катерину Андреевну и детей обними за меня, а себя за меня же поцелуй крепко в зеркале. Агриппине мой душевный поклон. Я ее всегда любил, а за ласки, которые она тебе оказывает, люблю вдвое. Скажи ей это от меня. Бедный Петр Валуев убит. Пропасть знакомцев изранено и убито. Ты меня сохранила. Прости, ангел мой хранитель.



А. С. Грибоедов (1795–1829)

Бесценный друг мой, жаль мне тебя, грустно без тебя как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить.

Александр Сергеевич Грибоедов, написавший пьесу «Горе от ума», в 1822 г. приезжает по службе в Тифлис, где живет на протяжении 4 лет с небольшими перерывами. Там, среди множества восточных красавиц, он замечает княжну Нину Чавчавадзе и влюбляется в нее. Перед самым переездом в Персию они женятся. Счастье молодых было прервано гибелью Грибоедова 30 января 1829 г. На его могиле вдова Нина Чавчавадзе оставила надпись: *«Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?»*

А. С. Грибоедов – жене
(Казбин, 24 декабря 1828 года, сочельник)

Душенька. Завтра мы отправляемся в Тегеран, до которого отсюда четыре дни езды. Вчера я к тебе писал с нашим одним подданным, но потом расчел, что он не доедет до тебя прежде двенадцати дней, так же к M-me Macdonald, вы вместе получите мои конверты. Бесценный друг мой, жаль мне тебя, грустно без тебя как нельзя больше. Теперь я истинно чувствую, что значит любить. Прежде расставался со многими, к которым тоже крепко был привязан, но день, два, неделя, и тоска исчезала, теперь чем далее от тебя, тем хуже. Потерпим еще несколько, Ангел мой, и будем молиться Богу, чтобы нам после того никогда боле не разлучаться.

Пленные здесь меня с ума свели. Одних не выдают, другие сами не хотят возвратиться. Для них я здесь даром прожил, и совершенно даром.

Дом у нас великолепный и холодный, каминов нет, и от мангалов у наших у всех головы пересохли.

Вчера меня угощал здешний Визирь, Мирза Неби, брат его женился на дочери здешнего Шахзады, и свадебный пир продолжается четырнадцать дней, на огромном дворе несколько комнат, в которых угощение, лакомство, ужин, весь двор покрыт обширнейшим полотняным навесом, вроде палатки, и богато освещен, в середине Театр, разные представления, как те, которые мы с тобою видели в Табризе, кругом гостей человек до пятисот, сам молодой ко мне являлся в богатом убранстве.

Однако, душка, свадьба наша была веселее, хотя ты не Шахзадинская дочь, и я незнатный человек. Помнишь, друг мой неоцененный, как я за тебя сватался, без посредников, тут не

было третьего. Помнишь, как я тебя в первый раз поцеловал, скоро и искренно мы с тобой сошлись, и навеки. Помнишь первый вечер, как маменька твоя и бабушка и Прасковья Николаевна сидели на крыльце, а мы с тобою в глубине окошка, как я тебя прижимал, а ты, душка, раскраснелась, я учил тебя, как надобно целоваться крепче и крепче. А как я потом воротился из лагеря, заболел, и ты у меня бывала. Душка!..

Когда я к тебе ворочусь! Знаешь, как мне за тебя страшно, все мне кажется, что опять с тобою то же случится, как за две недели перед моим отъездом. Только и надежды, что на Дереджану, она чутко спит по ночам, и от тебя не будет отходить. Поцелуй ее, душка, и Филиппу и Захарию скажи, что я их по твоему письму благодарю. Если ты будешь ими довольна, то я буду уметь и их сделать довольными.

Давиче я осматривал здешний город, богатые мечети, базар, караван-сарай, но все в развалинах, как вообще здешнее Государство. На будущий год, вероятно, мы эти места вместе будем проезжать, и тогда все мне покажется в лучшем виде.

Прощай, Ниночка, Ангельчик мой.

Теперь 9 часов вечера, ты, верно, спать ложишься, а у меня уже пятая ночь, как вовсе бессонница. Доктор говорит от кофею. А я думаю, совсем от другой причины. Двор, в котором свадьбу справляют, недалек от моей спальной, поют, шумят, и мне не только непротивно, а даже кстати, по крайней мере, не чувствую себя совсем одиноким.

Прощай, бесценный друг мой еще раз, поклонись Агалобеку, Монтису и прочим.

Целую тебя в губки, в грудку, ручки, ножки и всю тебя от головы до ног.

Грустно весь твой А. Гр.

Завтра Рождество, поздравляю тебя, миленькая моя, душка. Я виноват (сам виноват и телом), что ты большой этот праздник проводишь так скучно, в Тифлисе ты бы веселилась. Прощай, мои все тебе кланяются.

В. Ф. Раевский (1795–1872)

Самое сновидение, его таинственная связь или показатель бессмертия живо означает мне твои слезы или твой покой.

Владимир Федосеевич Раевский вошел в историю как первый декабрист. Именно за его арестом последовала череда ссылок либерально настроенного дворянства. Молодой поэт и аристократ был лишен всех своих привилегий и сослан на поселение в село Олонки Иркутской губернии. Местные крестьяне уважали грамотного и умелого поэта-поселенца. Раевский стал превосходным хлебопашцем и огородником, завел крепкое хозяйство. И среди местных крестьянок встретил свою суженую Евдокию Моисеевну Середкину, подарившую ему девятерых детей. Какие чувства мог испытывать к ней Владимир Федосеевич, можно определить по его письму к другой – неизвестной. Благодаря амнистии 1856 г. ему вернули дворянский титул и разрешили возвратиться в европейскую часть России, но корни поэта уже крепко вросли в сибирскую землю, на которой родилась его семья.

В. Ф. Раевский – неизвестной (28 октября)

Сколько времени протекло после моей разлуки с тобою! При всех переменах моего положения я остался одинаков в чувствах моей любви! Где ты и что с тобою? Я не знаю, – но мрачное предчувствие или тихое удовольствие (если можно назвать, успокоение души) дают мне сочувствовать и знать твое состояние, перемены, тебе определенные. Самое сновидение, его таинственная связь или показатель бессмертия живо означает мне твои слезы или твой покой. Так, суеверие есть необходимость чувственной любви, основанной на взаимности!.. Прочь призрак одной мечтательной совершенности и нравственного! Сила сладострастия пробуждает нравственные наслаждения: свидание, приветливость, уверенность в любви взаимной, надежда, ревность, мечтательное совершенство моего предмета, суть разнообразные свойства, волнующие душу – и, следственно, живущие в сфере идеального, неразлучного с чувствами!

Единообразная картина здешней страны еще более усиливает во мне желание скорее обнять тебя, милая Гаша. О, да сохранит тебя Небо от всяких скорбей, и да будет с тобою чистая надежда и уверенность в моей любви и неизменной верности.

А. С. Пушкин (1799–1837)

Прощайте, мой прелестный ангел. Целую кончики ваших крыльев…

«Лучший поэт России и первая красавица России» – так говорили о союзе Александра Пушкина и Натальи Гончаровой. Александр встретил Наталью в декабре 1828 г., а в апреле 1829-го сделал предложение.

«Я женат – и счастлив; одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось – лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился», – писал поэт вскоре после свадьбы. Но мечтам Пушкина не суждено было сбыться. После шести лет семейной жизни в любви и согласии наступило время «черной клеветы» на Наталью Гончарову. Ее обвинили в тайной связи с французским подданным Дантесом. «Пушкин завещал вечно хранить честь своей жены и поплатился жизнью за репутацию вечно любимой Натали», – напишет позже Анна Ахматова.

«Я помню чудное мгновенье» – эти строки Александр Пушкин посвятил Анне Петровне Керн. С ней он был знаком еще до встречи с Гончаровой. Страстный роман захлестнул Пушкина и Керн в Риге. Сохранились их письма друг к другу на французском языке. Мимолетные отношения замужней Анны Керн и влюбчивого Александра Пушкина быстро закончились. Анна Петровна, несчастная в браке с престарелым мужем, вскоре встретила свою настоящую любовь – Александра Маркова-Виноградского и после смерти первого супруга обручилась с возлюбленным. Пушкин женился на Гончаровой.

А. С. Пушкин – невесте Н. Н. Гончаровой (Москва, март 1830 года)

Сегодня – годовщина того дня, когда я вас впервые увидел; этот день… в моей жизни…

Чем боле я думаю, тем сильнее убеждаюсь, что мое существование не может быть отделено от вашего: я создан для того, чтобы любить вас и следовать за вами; все другие мои заботы – одно заблуждение и безумие. Вдали от вас меня неотступно преследуют сожаления о счастье, которым я не успел насладиться. Рано или поздно, мне, однако, придется все бросить и пасть к вашим ногам. Мысль о том дне, когда мне удастся иметь клочок земли в… одна только улыбается мне и оживляет среди тяжелой тоски. Там мне можно будет бродить вокруг вашего дома, встречать вас, следовать за вами…

А. С. Пушкин – невесте Н. Н. Гончаровой (Болдино, 11 октября)

Въезд в Москву запрещен, и вот я заперт в Болдине. Именем неба молю, дорогая Наталья Николаевна, пишите мне, несмотря на то, что вам не хочется писать. Скажите мне, где вы? Оставили ли вы Москву? Нет ли окольного пути, который мог бы меня привести к вашим ногам? Я совсем потерял мужество и не знаю в самом деле, что делать. Ясное дело, что в этом году (будь он проклят!) нашей свадьбе не бывать. Но не правда ли, вы оставили Москву? Добровольно подвергать себя опасности среди холеры было бы непростительно. Я хорошо знаю, что всегда преувеличивают картину ее опустошений и число жертв; молодая женщина из Константинополя говорила мне когда-то, что только la canaille[4] умирает от холеры – все это прекрасно и превосходно; но все же нужно, чтобы порядочные люди принимали меры предосторожности, так как именно это спасает их, а вовсе не их элегантность и не их хорошей тон. Итак, вы в деревне хорошо укрыты от холеры, не правда ли? Пришлите мне ваш адрес и бюллетень о вашем здоровье! Мы не окружены карантинами, но эпидемия еще не проникла сюда. Болдино имеет вид острова, окруженного скалами. Ни соседа, ни книги. Погода ужасная. Я провожу мое время в том, что мараю бумагу и злюсь. Не знаю, что делается на белом свете и как поживает мой друг Полиньяк. Напишите мне о том, так как я совсем не читаю журналов. Я становлюсь совершенным идиотом: как говорится – до святости. Что дедушка с его медной бабушкой? Оба живы и здоровы, не правда ли? Передо мной теперь географическая карта; я смотрю, как бы дать крюку и приехать к вам через Кяхту или через Архангельск? Дело в том, что для друга семь верст – не крюк; а ехать прямо в Москву, значит, за семь верст киселя есть (да еще какого! московского!). Вот, поистине, плохие шутки. Je ris jaune[5], как говорят пуассардки. Прощайте. Повергните меня к ногам вашей maman; мои сердечные приветы всему семейству. Прощайте, мой прелестный ангел. Целую кончики ваших крыльев, как говорил Вольтер людям, которые не стоили вас.

А. С. Пушкин – невесте Н. Н. Гончаровой (24 августа)

Ты не угадаешь, мой ангел, откуда я тебе пишу: из Павловска, между Берновом и Малинниками, о которых, вероятно, я тебе много рассказывал. Вчера, своротя на проселочную дорогу к Яропольцу, узнаю с удовольствием, что проеду мимо Вульфовых поместий, и решился их посетить. В 8 часов вечера приехал я к доброму моему Павлу Ивановичу (Эгельстрому), который обрадовался мне, как родному. Здесь я нашел большую перемену. Назад тому 5 лет Павловское, Малинники и Берново наполнены были уланами и барышнями, но уланы переведены, а барышни разъехались; из старых моих приятельниц нашел я одну белую кобылу, на которой и съездил в Малинники; но и та уж подо мною не пляшет, не бесится, а в Малинниках, вместо всех Анет, Евпраксий, Саш, Маш, etc., живет управитель Парасковии Александровны Рейхман, который попотчевал меня шнапсом. Вельяшева, мною некогда воспетая, живет здесь, в соседстве; но я к ней не поеду, зная, что тебе это было бы не по сердцу. Здесь обдаюсь я вареньем и проиграл три рубля в двадцать четыре роббера в вист. Ты видишь, что во всех отношениях я здесь безопасен. Много спрашивают меня о тебе; так же ли ты хороша, как сказывают, и какая ты: брюнетка или блондинка, худенькая или плотненькая? Завтра чем свет отправляюсь в Ярополец, где пробуду несколько часов, и отправлюсь в Москву, где, кажется, должен буду остаться дня три. Забыл я тебе сказать, что в Яропольце (виноват: в Торжке) толстая m-lle Pojarsky, та самая, которая варит славный квас и жарит славные котлеты, провожая меня до ворот своего трактира, отвечала мне на мои нежности: стыдно вам замечать чужие красоты, у вас у самого жена такая красавица, что я, встретя ее (?), ахнула. А надобно тебе знать, что m-lle Pojarsky ни дать ни взять m-me Georges, только немного постарше. Ты видишь, моя женка, что слава твоя распространяется по всем уездам. Довольна ли ты? Будьте здоровы все, помнит ли меня Маша, и нет ли у ней новых затей? Прощай, моя плотненькая брюнетка (что ли?). Я веду себя хорошо, и тебе не за что на меня дуться. Письмо это застанет тебя после твоих именин. Гляделась ли ты в зеркало и уверилась ли ты, что с твоим лицом ничего сравнить нельзя на свете, а душу твою люблю я еще более твоего лица. Прощай, мой ангел, целую тебя крепко.

А. С. Пушкин – А. П. Керн
(Москва, в конце августа)

Я отправляюсь в Нижний без уверенности в своей судьбе. Если ваша мать решилась расторгнуть нашу свадьбу и вы согласны повиноваться ей, я подпишусь подо всеми мотивами, какое ей будет угодно привести мне, даже и в том случае, если они будут настолько основательны, как сцена, сделанная ею мне вчера, и оскорбления, которыми ей угодно было меня осыпать. Может быть, она права, и я был неправ, думая одну минуту, что я был создан для счастья. Во всяком случае, вы совершенно свободны; что же до меня, то я даю вам честное слово принадлежать только вам или никогда не жениться.

А. С. Пушкин – неизвестной (Михайловское, 8 декабря)

Никак не ожидал я, очаровательница, чтобы вы обо мне вспомнили, и от глубины души благодарю вас. Байрон приобрел в глазах моих новую прелесть – все его герои в моем воображении облекутся в незабвенные черты. Вас буду видеть я в Гюльнар и в Леиле; самый идеал Байрона не мог быть так божественно-прекрасен.

Итак, вас, и всегда вас, судьба посылает для услаждения моего уединения! Вы – ангел-утешитель, а я не что иное, как неблагодарный, потому что еще ропщу.

Вы едете в Петербург; мое изгнание тяготит меня боле, чем когда-нибудь. Может быть, происшедшая перемена приблизить меня к вам; не смею надеяться. Не станем верить надежде; она не что иное, как хорошенькая женщина, которая обходится с нами, как со стариками-мужьями. А что поделывает ваш, мой кроткий гений? Знайте, что под его чертами я представляю себе врагов Байрона, с его женою включительно.

P. S. Опять берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ног ваших, что я все вас люблю, что иногда ненавижу вас, что третьего дня говорил про вас ужасы, что я целую ваши прелестные ручки, что снова перецеловываю их в ожидании еще лучшего, что больше сил моих нет, что вы божественны и проч.

А. С. Пушкин – неизвестной

Вы издеваетесь над моим нетерпением: вам доставляет особое удовольствие приводить меня в недоумение; мне удастся увидеть вас только завтра – пусть будет так!

Я не могу, однако, заниматься только вами одними. Хотя видеть и слышать вас было бы для меня блаженством, я тем не менее предпочитаю писать вам, а не говорить. В вас есть ирония и сарказм, которые озлобляют и отнимают надежду. В вашем присутствии немеет язык и чувствуется какое-то томление. Наверно, вы – демон, т. е. дух сомненья и отрицанья, как сказано в Священном Писании. Недавно вы жестоко отозвались о прошлом: вы сказали мне, что я старался не верить в течение семи лет… Зачем это? Счастье чувствовалось мною так полно, что я не узнал его, когда оно было предо мной.

Не говорите мне более о нем. Бога ради. Сожаление, когда все делается известным, это острое сожаление, соединенное с каким-то сладострастием, похоже на бешенство (…)

Дорогая Элеонора, позвольте мне назвать вас этим именем, напоминающим мне жгучие чтения вместе с увлекавшим меня тогда сладким призраком и вашу собственную жизнь, столь порывистую, бурную и отличную от того, чем бы она должна была быть. Дорогая Элеонора, вам известно, что я испытал на себе всю силу вашего обаяния и обязан вам тем, что любовь имеет самого сладостного. От всего этого у меня осталась одна привязанность – правда, очень нежная, и немного страха, которого я не могу побороть в себе. Если вам когда-нибудь попадутся на глаза эти строки, я знаю, что вы тогда подумаете: «Он оскорблен прошлым, вот и все; он заслуживает, чтоб я его вновь…» Не правда ли?

А между тем, если бы я, принимаясь за перо, вздумал вас спросить о чем-нибудь, то я, право, не знал бы, о чем. Да… разве о дружбе. Эта просьба была бы вульгарна, как просьба нищего о куске хлеба. На самом же деле мне нужна ваша интимность… А между тем вы все так же хороши, как в тот день, когда ваши губы коснулись моего лба. Я чувствую еще до сих пор их влажность и невольно превращаюсь в правоверного; но вы будете… Эта красота надвигается, как лавина.

Е. С. Норова (1799–1835)

Покажется ли вам странным и необычным, что я хочу просить вашего благословения? […] Для себя я призываю на вас все благословения Всевышнего.

«Болезненная, идеалистическая девушка» – так отзывались современники о Евдокии Сергеевне Норовой. Дочь помещика, замкнутая и религиозная, она никогда не думала о замужестве и даже не видела себя в роли жены. Но однажды, как бывает в романтических сказках, Евдокия без памяти влюбилась. Ее сердце с момента встречи стало принадлежать Петру Яковлевичу Чаадаеву – русскому философу, публицисту, другу А. С. Пушкина.

Чаадаев был настолько увлечен философией, политикой, общественной жизнью, что не оставлял места для личной жизни, не имел любовных романов. На его судьбу выпали сложные испытания, долгое время он жил в гонениях, был объявлен сумасшедшим за свои «антигосударственные идеи». Однако, несмотря на «весьма испачканную биографию» Чаадаева, Евдокия Норова самоотверженно любила его. Незадолго до смерти, в 1835 г. она напишет в своем письме любимому: «Благословите меня – я мысленно становлюсь перед Вами на колени…» Чаадаев завещал похоронить себя близ могилы Е. С. Норовой.

Е. С. Норова – П. Я. Чаадаеву (Около 1830 года)

Уже поздно, я долго просидела за этим длинным письмом, а теперь, перед его отправкою, мне кажется, что его лучше было бы разорвать. Но я не хочу совсем не писать к вам сегодня, не хочу отказать себе в удовольствии поздравить вас с Рождеством нашего Спасителя Иисуса Христа и с наступающим новым годом.

Покажется ли вам странным и необычным, что я хочу просить вашего благословения? У меня часто бывает это желание, и, кажется, решись я на это, мне было бы так отрадно принять его от вас, коленопреклоненной, со всем благоговением, какое я питаю к вам. Не удивляйтесь и не отрекайтесь от моего глубокого благоговения – вы не властны уменьшить его во мне. Благословите же меня на наступающий год, все равно, будет ли он последним в моей жизни, или за ним последует еще много других. Для себя я призываю на вас все благословения Всевышнего. Да, благословите меня – я мысленно становлюсь пред вами на колени – и просите за меня Бога, чтобы Он сделал меня такою, какою мне следует быть.

Е. Г. Левашёва (ок. 1810–1839)

Я вижу ваше назначение в ином; мне кажется, что вы призваны протягивать руку тем, кто жаждет подняться…

Екатерина Гавриловна Левашёва – близкий друг П. Я. Чаадаева, замечательная женщина, которая долгое время сдавала Петру Яковлевичу квартиру на Басманной. Чаадаев никогда не был состоятельным человеком, еле-еле сводил концы с концами. Но, несмотря на это, был всегда элегантно и дорого одет. Его друзья отмечали, что Чаадаев может сменить дюжину перчаток за раз, подбирая их к костюму. Петр Яковлевич разъезжал на изысканной карете, всегда имел при себе несколько слуг. Жил в вечных долгах.

Хозяйка дома Екатерина Гавриловна по-родственному опекала Чаадаева, чему бесконечно радовалась, поскольку у него была «теплая душа и чувствительное сердце». В комнатах Петра был сделан серьезный ремонт, быт его всячески украшался, Левашёва почитала радостью доставлять Чаадаеву книги, театральные билеты и другие, совершенно необходимые вещи. Недаром Пушкин как-то написал жене: «Чаадаев потолстел, похорошел и поздоровел».

Е. Г. Левашева – П. Я. Чаадаеву (Около 1830 года)

Искусный врач, сняв катаракту, надевает повязку на глаза больного; если же он не сделает этого, больной ослепнет навеки. В нравственном мире – то же, что в физическом; человеческое сознание также требует постепенности. Если Провидение вручило вам свет слишком яркий, слишком ослепительный для наших потемок, не лучше ли вводить его понемногу, нежели ослеплять людей как бы Фаворским сиянием и заставлять их падать лицом на землю? Я вижу ваше назначение в ином; мне кажется, что вы призваны протягивать руку тем, кто жаждет подняться, и приучать их к истине, не вызывая в них того бурного потрясения, которое не всякий может вынести. Я твердо убеждена, что именно таково ваше призвание на земле; иначе зачем ваша наружность производила бы такое необыкновенное впечатление даже на детей? Зачем были бы даны вам такая сила внушения, такое красноречие, такая страстная убежденность, такой возвышенный и глубокий ум? Зачем так пылала бы в вас любовь к человечеству? Зачем ваша жизнь была бы полна стольких треволнений? Зачем столько тайных страданий, столько разочарований?.. И можно ли думать, что все это случилось без предустановленной цели, которой вам суждено достигнуть, никогда не падая духом и не теряя терпения, ибо с вашей стороны это значило бы усомниться в Провидении? Между тем уныние и нетерпение – две слабости, которым вы часто поддаетесь, тогда как вам стоит только вспомнить эти слова Евангелия, как бы нарочно обращенные к вам: будьте мудры, как змий, и чисты, как голубь. До свидания. Что ждет вас сегодня в клубе? Очень возможно, что вы встретите там людей, которые поднимут целое

облако пыли, чтобы защититься от слишком яркого света. Что вам до этого? Пыль неприятна, но она не преграждает пути.

Н. И. Надеждин (1804–1856)

О, с какою гордостью, с каким упоением представляю я тебя моей нежной подругой!.. Я – царь на престоле с тобою!..

В 1804 г. в семье священника Рязанской губернии родился Николай Иванович Надеждин – будущий ученый, критик, педагог, профессор.

Одновременно с преподаванием в Московском университете и изданием журнала Надеждин устроился домашним учителем в семью известных дворян Сухово-Кобылиных. Во время обучения между ним и старшей дочерью Сухово-Кобылиных – Елизаветой Васильевной (будущей писательницей Евгенией Тур) – завязываются очень теплые дружеские, а затем и романтические отношения. Летом 1834 г. Николай и Елизавета решают пожениться. Но этому браку не суждено было состояться. Родители Елизаветы Васильевны выступили категорически против, считая жениха, имевшего незнатное происхождение, недостойным руки их дочери.

Влюбленные думают тайно обвенчаться, но их замысел проваливается. Николаю Ивановичу приходится уехать из России, он путешествует по Европе, много пишет. Елизавета выходит замуж за выдающегося полководца Иосифа Гурко, но до конца жизни с нежностью хранит письма Надеждина.

Н. И. Надеждин – Е. В. Сухово-Кобылиной

Тверди своим, что у тебя нет сил ждать, что *ты непременно убежишь ко мне.* Домогайся одного, чего еще можно домогаться: чтобы тебя отпустили они сами на все четыре стороны… толкнули в мои объятия… Грози, что ты не будешь скрывать любви своей… не побоишься никого и ничего… Может быть, ты надоешь им своею твердостью… может быть, они тебя выгонят ко мне… О! если бы это случилось… Тебе это в тысячу раз было бы легче, чем побег; а я весь от тебя завишу… Твое спокойствие есть мое блаженство… Мы еще имеем перед собой два или полтора месяца… Это довольно времени… Если уже непременно увезут тебя, найди случай во что бы то ни стало известить меня через почту: где ты? Я прилечу на крыльях любви… Я убью все мое состояние, войду в долги, – закабалю, заложу всю мою будущность, чтобы иметь средства овладеть тобою… Мы играем в ужасную игру; но это будет coup decisif[6]: быть или не быть!

Н. И. Надеждин – Е. В. Сухово-Кобылиной

Слушай, я не поеду без тебя путешествовать… Ты пойдешь со мною, пойдешь моею женою, волею или неволею, с согласия или без согласия, – это Бог решит… Отвечай мне завтра одно слово, только одно: да или нет, и предоставь мне действовать… Минуты дороги! Когда ты скажешь: да! я напишу к твоему отцу и матери формальное предложение, просьбу твоей руки… Знаю, что они не согласятся. Но тогда, по крайней мере, вся ответственность пред глазами света с нас снимется. Тогда… развязка должна быть насильственная… Ради Бога! Не делай насилия самой себе при ответе… Если ты скажешь мне: нет! поверь, я не буду роптать… Я покорюсь твоей воле. Я уеду в июне-месяце – и буду скитаться по свету Каином… Дай же мне ответ немедленно. Завтра (15 апреля) или послезавтра от вас будут перевозить мои вещи. (…) отдаст как-нибудь Ивану лоскуток с одним только словом…

Н. И. Надеждин – Е. В. Сухово-Кобылиной

О, с какою гордостью, с каким упоением представляю я тебя моей нужной подругой!..

Я – царь на престоле с тобою!.. Знаешь ли, друг мой! Третьего дня вечером, когда я писал письмо к твоей матери, Константин, вследствие моей давнишней, в шутку сделанной просьбы, написал акростих к будущей моей жене, то есть к тебе теперь. Вот он:

На ней почиют вдохновения,
Алмазной цепью сплетены;
Дары благого Провидения
Ей в изобилии даны;

Жизнь с беззаботною улыбкой
Дает ей лучшие цветы,
И вьются, вьются цепью зыбкой
Над нею легкие мечты;
Алеет утро красоты!

Из заглавных букв выходит Надеждина (Елисавета!)… О, как этот портрет будет походить на оригинал, когда мы будем вполне счастливы!.. Константин славно угадал прекрасный идеал души моей… Да будет так!.. Это вдохновение юного, невинного младенчески сердца я признаю за пророчество.

Н. И. Надеждин – Е. В. Сухово-Кобылиной

Будь сама беспристрастным судьею. Кто был главным виновником этих ужасных катастроф, чрез которые переходила ты с опасностью своей драгоценной жизни? – Я! Мое присутствие было для тебя губительным ядом: оно не давало тебе ни минуты успокоения; оно перекидывало тебя беспрестанно то в небо, то в ад; оно истерзало всю твою душу!.. Увлекшись словами, вырывавшимися из души твоей без мысли, по собственному твоему признанию, я имел жестокость схватиться за эти слова, прояснить для тебя смысл их, оцветить обольстительною надеждою, превратить, наконец, в потребность… которая не может быть исполнена… которой не только исполнение – одно присутствие в душе твоей есть уже для тебя источник лютейших мук, семя ужаснейших страданий… Да! друг мой! теперь я понимаю, вижу, осязаю, что если б я осмелился воспользоваться твоею настоящею решимостью… я бы произнес твой смертный приговор – я бы убил тебя… В настоящую минуту соединение твое со мною не может принести тебе счастья… Зачем ты обманываешь себя? Зачем вымучиваешь из себя решение, исполнение которого будет твоею смертью… Я уже видел это из предыдущего твоего письма; последнее еще более вразумило меня… На каждой строке твоя решимость сопровождается смертным содроганием… Говоришь безусловно – и прибавляешь тысячу: *а если… если…* О! я понимаю смысл этих *если*; я был бы изверг, если бы не понял их… Сердце твое раздвоено… Будь искренна, друг мой! Признайся сама себе: твое решение кажется тебе *преступлением*… И я попущу тебе сделаться преступницей в собственных твоих глазах?.. Никогда! Клянусь тебе небом и адом!.. Лучше умрем вместе… Да! милый друг! Ты хочешь поступить *против* своей *совести;* это невозможно… я сам не допущу тебя… Одно только могло решить меня принять все твои жертвы: отречение от родных, от связей, от прежних привычек, от состояния, от мнения света, от всего твоего прошедшего и настоящего – одно, я говорю: уверенность, что соединение со мною даст тебе полное, невозмущаемое счастье – счастье, которое заменит тебе все, вознаградит тебя за все, одним собою наполнит, просветит, украсит всю жизнь твою… Мой долг, высокий, священный долг – даровать тебе это счастье… Но, милый ангел, – этой уверенности я не имею и не могу иметь… И теперь решимость твоя, еще не исполненная, сопровождается беспрестанными, неумолкающими угрызениями?.. Что ж будет по исполнении? Эти угрызения вопьются в твое сердце лютыми

змеями; они не дадут ему отдохнуть и забыться на груди моей… Не будем украшать для себя будущность… Ты боишься проклятия, тогда как оно может упасть на тебя только в виде угрозы; что ж тогда, когда оно разразится над тобой всей своей тяжестью, по исполнении? А это может очень случиться!.. Я не думаю, чтоб отец твой умер с печали, хотя знаю, что он во сто раз чувствительнее твоей матери; но с ним может случиться естественным образом болезнь, может случиться все; что тогда будет с тобою? Ты сама умрешь на руках моих!.. Не правда ли?.. Итак, как же я могу, по совести, как честный и благородный человек, принять твою насильственную решимость, уже и теперь осуждаемую твоею совестью?.. Ангел мой! Я люблю тебя всем бытием моим… и эта-то самая любовь заставляет меня… о! ужасно! ужасно! *заставляет отказаться* от тебя – *на время!!!*… *Пускай это время* будет для тебя самой временем испытания… Теперь в тебе борются *два* чувства; а в борьбе нет и не может быть счастья… Не верь этим минутам порывов, когда любовь достигает в тебе до насильственного напряжения и, по-видимому, торжествует над долгом… Дай свободу сразиться этим двум чувствам в тишине… Пусть одно из них победит – и победит прочно!.. Я не думаю, не могу – не хочу думать, чтобы твоя любовь могла уступить… Это невозможно… Но дай же мне увериться, что эта любовь наполняет *всю* твою душу – без исключения, без разделения, без всяких условий!.. Тогда совесть моя будет покойна; тогда я уверюсь, что твое счастье невозможно без меня, что я *один* могу составить твое блаженство на земле – и составлю!.. Тогда, милый друг мой, ничто меня не удержит; я растопчу в прах все препятствия; и мы – хоть минуту – но будем вместе!.. *Вместе* – о, какое божественное слово! сколько в нем упоительного, невыразимого блаженства!

И. П. Галахов (1809–1849)

…я хотел сказать вам только, что много люблю вас… что мне недостает вас, что без вас меняется цвет вещей, что я тоскую по вам, Мария…

Галахов Иван Павлович, сверстник и приятель Герцена, Огарева, Грановского, характерный тип человека сороковых годов XIX в., любил Марию Львовну Огареву – жену своего друга. Разгар их романа пришелся на лето 1841 г., начавшегося за границей и длившегося около трех лет.

Галахов долгое время склонял Марию Львовну бросить своего мужа, имевшего на то время крупное состояние. Сам же Иван Павлович не отличался высоким доходом, скорее жил весьма стесненно. Как признается сам Галахов в одном из своих писем: «Я хоть немножко стою вас и так смешон. А так хочется быть с вами много-много, долго-долго!»

И. П. Галахов – М. Л. Огаревой (18 июля 1841 года)

Моя милая, добрая, увлекательная Мария, как мне грустно быть вдали от вас! Я твержу вам об этом со дня отъезда. Мне кажется, что разлука с вами еще ни разу не мучила меня так. Обнимаю ваши колени. Вы выказали мне столько привязанности, внимания и интимности, что эта роскошь сделалась для меня необходимостью и что я принужден отказаться от нее. Но зачем же удаляться, почему не оставаться вместе?.. Гм! – потому что ко всему примешивается противоречие, и потому что я не могу выносить его ежедневно, не подвигаюсь ни в ту, ни в другую сторону. Иногда я испытываю то сожаление – долгое, хотя длящееся миг, – которое чувствует, может быть, изгнанник, когда перед ним убегает его родная страна, а он вынужден искать новое отечество. Вы, столь хрупкая, столь юная, то шаловливая, веселая, то грустная или унылая, – вы могли бы быть для меня стойкой опорой: человек обеспечен во всем, когда удовлетворена его главная потребность. Между тем нужно уйти, нужно искать других симпатий, новых интересов и связей, когда вовсе этого не хочется, когда хотелось бы только продолжения старых. Вы не скажете, что это сделка с самим собою или пустые бредни, – вы поймете, что, по крайней мере, для одной стороны, это – невозможность и справедливость, и вместе жертва. Но сколько боли во всем этом!

Я еще не могу освоиться с мыслью, что мы расстанемся надолго, и меня охватывает желание броситься к вам или крикнуть вам: вернись и останься! Страшно подумать, что время отдалит нас друг от друга, что мы состаримся и охладеем и будем искать иных отношений и переделывать старые. Но что делать?!

Люди и жизнь так странно устроены; кажется, будто второстепенные интересы одерживают верх над высшими, но в действительности высшие одерживают верх над теми. Я боюсь рабства и лжи; свобода и честность легко подвергаются опасности. Может быть, вам будет скучно читать мою болтовню, но вы поймете, что я хотел сказать вам только, что много люблю вас, что вы очаровательны, что мне недостает вас, что без вас меняется цвет вещей, что я тоскую по вам, Мария, что любовью меня подкупают бесконечно, что, оставаясь один, я должен призывать на помощь все свое мужество, чтобы жить, что мне безумно хочется вас видеть. Я хоть немножко стою вас и так смешон, что воображаю, что хоть горько, но надо мне вас убегать; какая глупость! А так хочется быть с вами много-много, долго-долго! Бросьте лечиться, приезжайте в Москву!

И. П. Галахов – М. Л. Огаревой (18 августа 1841 года, ночь)

Я спешил сюда, чтобы найти от вас весточку, Мария, и сегодня получил ваши два письма. Их содержание кипит и клокочет и заливает меня, как волны моря, которое я только что покинул; но я не в силах справиться с ним и выхожу из него не укрепленный, а сломленный. Чтобы ответить на это излияние, источник которого в нашем взаимном влечении и взаимном лишении, надо было бы все сказать, все объяснить, убедить и столковаться с полной ясностью и искренностью, а для того, чтобы это объяснение было действительным и удовлетворило нас, оно должно было бы сопровождаться превращением желания в добровольное самоотречение и личного чувства – в культ общих идей и чувств; или же ничего не сказать, фактически подать руку друг другу, прижать друг друга к груди, любить и идти так в жизни и умереть, если можно, вместе в безумстве восторга. Ни тот, ни другой ответ, по-видимому, невозможен. Но как остаться безмолвным в виду всего, что содержат ваши страницы? В сущности, нам не о чем рассуждать и не о чем объясняться, кроме нашего взаимного отношения, потому что, столковавшись о нем, мы бы, думаю, легко согласились во всем прочем. Но именно этого нет, и мы бродим вокруг вещей и принципов, чтобы найти, по крайней мере, разумное основание для этих отношений и поступков. И это законно, потому что не надо действовать безумно или по капризу, надо сохранить остаток рассудительности и воли, надо знать, для чего насилуешь и мучишь сея. У вас немного запутана голова, а у меня немного запутаны сердце и чувства, поэтому вы не будете последовательны в ваших мыслях, чтобы не слишком страдать сердцем, я же не буду последователен в требованиях сердца и чувств, чтобы не слишком страдал мой ум. Отдаться мужчине, говорите вы, столь же предосудительно, как выпить стакан шампанского. Вы правы: это столь же естественно, если бы последствия не были иные. Стоит мне пожелать вас, и вы моя, – это для меня куда как удобно; но в этом случае вы не уподобите обладание вами глотку шампанского, вы отвергнете его, как унижающую вас пошлость: вы ставите условием симпатию, дружбу, прочность отношений. Прекрасно, – я принимаю это условие, но тогда расстаньтесь с мужем, с его богатством и именем, они более не принадлежат вам, это ясно, как день. Да и что ему делать, этому третьему, между двумя людьми, которые

принадлежат друг другу сердцем, телом и душою, потому что обладание есть великое присвоение любимого существа.

И затем признайте справедливым и естественным, чтобы общество знало, что вы любите такого-то и принадлежите ему, и не бойтесь огласки. Но этого вы не хотите, вы хотите компромисса в мыслях, а в действительности невозможного. Любовник – друг, любовник или друг!

Я был бы счастлив быть для вас первым, мог бы быть и вторым – с горечью за вас и за себя, но третьим теперь и вблизи я не могу быть искренно. Чтобы не увязнуть в пошлости, лжи и противоречиях, чтобы эмансипироваться, т. е. стать свободной надо, как на словах, воздействовать примером на прогресс, женщина должна бесповоротно выбрать одно из двух начал: либо законы современного брака, либо фурьеризм; и если она хочет теперь же выступить из круга установленных отношений, она должна гражданski поставить себя независимо и взять себе одного или нескольких любовников, рискуя в современном обществе остаться со всеми своими детьми на руках, – такова Жорж Занд. Но нужно мужество, чтобы так поступать перед лицом общества, столь сурово карающего за явные грехи. Все остальное – противоречие. Утверждать, что женщина способна в том и в другом случае быть цельной и последовательной, не значит презирать ее.

М. Л. Огарева
(Ок. 1817–1853)

Я горько проучена вами, и отныне буду осторожней.
Мне не нужно больше любви…

Мария Львовна Огарева (Рославлева) была женой известного русского борца за свободу, писателя, поэта – Николая Платоновича Огарева. В феврале 1836 г. Огарев объяснился с Марией Львовной Рославлевой. Между обручением и свадьбой, состоявшейся в 1838 г., Огарев писал невесте: «Единственная, которую я могу истинно любить, это ты, и я клянусь тебе, что эта любовь будет вечною…» Однако любовь и брак были быстротечны и трагично закончились для обоих.

Мария Львовна была далеко не красавицей, но, по общему мнению, женщиной очень умной, интересной и легкомысленной. Эта легкомысленность и стала причиной увлечения Марии другом Огарева – Галаховым. Расставание с мужем – Николаем Платоновичем проходило тяжело, особенно для супруга, он терпел насмешки друзей об измене жене, но все равно не хотел развода.

Отношения Огаревой и Галахова быстро закончились, оставив после себя три разрушенные судьбы. «Вы три года добивались моей любви… Вы добились моей любви, – почему же вы не взяли меня?.. Я горько проучена вами… Мне не нужно больше любви… вы же и впредь останетесь мне дороги, но только, как книга…» – напишет позже Огарева Галахову.

М. Л. Огарева – И. П. Галахову (18 августа 1841 года)

Вы три года добивались моей любви; вы делали все, чтобы привлечь мое внимание и возбудить мое чувство к вам, и, когда вы, наконец, достигли цели, вы медлите в нерешительности. Вы добились моей любви, – почему же вы не взяли меня? Так ли поступает страсть? Нет, если бы вы действительно любили, вы не стали бы философствовать, вас не остановили бы принципиальные сомнения. Да и какой тут может быть вопрос? Страсть сама в себе носит свое право. И почему смотреть на обладание женщиной с суеверным страхом и обставлять его тысячью условий, как некое священнодействие? Я горько проучена вами, и отныне буду осторожней. Мне не нужно больше любви; я буду искать твердой дружеской руки, которая удерживала бы меня от необдуманных шагов и непоследовательности; вы же и впредь останетесь мне дороги, но только, как книга…

Н. П. Огарев (1813–1877)

Ибо любить тебя, значит любить все благое, Бога, вселенную, потому что твоя душа открыта добру и способна охватить его, потому что твоя душа вся – любовь.

Огарев Николай Платонович – сын богача-помещика, известный поэт и ближайший друг Герцена. Во время ссылки в Пензу влюбился в Марию Львовну Рославлеву, бедную сироту, на которой и женился в 1838 г. Впоследствии они разошлись, причиной этому послужил роман Рославлевой, который быстро закончился, но успел сломать брак. Кроме всего, как отмечали их друзья: «они были совершенно не сходны характерами». Но поэт-идеалист и после этого сохранил к жене дружеское и гуманное отношение, отразившееся в прощальном стихотворении «Благодарю за те мгновенья, когда я верил и любил…».

Н. П. Огарев – невесте М. Л. Рославлевой, впоследствии его жене

Знаешь ли, твоя записка так тронула меня, что доставила мне больше удовольствия, нежели твоя вспышка причинила мне огорчения. Но твоя вспышка была законна, и чтобы покончить с этим разномыслием, я хочу рассказать тебе все, что могло бы снова вызвать ее, и не будем больше говорить об этом.

Пятнадцати лет я мечтал о любви чистой и небесной, какую ощущаю сейчас; шестнадцати – пылкое воображение заставило меня полюбить; меня постигло разочарование, подорвавшее мою веру в любовь. Семнадцати лет я захотел обладать женщиною и обладал ею, без любви с обеих сторон – позорный торг между неопытным мальчиком и публичной девкой. Это был первый шаг к пороку. Человек так устроен от природы, что, раз познав женщину, он должен продолжать. Говорят, что это – физическая необходимость; я не верю этому; я убежден, что чистый человек должен избегать всякой связи, чуждой любви, хотя бы в ущерб своему физическому благосостоянию. Но я с жадностью ухватился за тот взгляд – и отдался пороку; иногда меня мучило раскаянье, но большей частью я усыплял свою совесть.

Можешь ли ты признать истинным чувством те немногие любовные ощущения, которые я испытал в то время? Нет; это были лишь усилия духа облагородить гнусность поведения. Мог ли я долго лелеять эти мнимые влюбления? Нет: меня не могла удовлетворять женщина, лишенная развитого ума, женщина, не носящая в себе любви к прекрасному и великому, чья любовь не возвышается до истинной любви, но есть лишь инстинкт, лишь предчувствие чего-то лучшего, чем она сама. И я удалялся тотчас, когда не мог преодолеть отвращения, истерзав себе душу мнимой

любовью и неуместной ревностью. Эти женщины были не по мне.

Единственная, которую я могу истинно любить, это ты, и я клянусь тебе, что эта любовь будет вечною, – клянусь и отдаю себе полный отчет в том, что это значит. Мария, неужели ты можешь думать, что у тебя была предшественница? Нет, я живу другой жизнью с тех пор, как люблю тебя; возьми меня перерожденного и забудь прежнего меня: то был почти зверь, этот – человек. Не ты должна повергаться к моим ногам, а я к твоим – ты чиста, как ангел, твоя вспышка была вспышкой презрения, которое внушают ангелу человеческие пороки. Но прости меня, люби меня, не покидай меня; без тебя все для меня кончено. Клянусь, я никогда не обману твоего доверия ко мне. Если, прочитав это, ты простишь мне мое прошлое, приди, бросься в мои объятия, – я чист теперь, и да не будет больше речи о прошлом!

Что я должен, по-твоему, сделать с этой девицей? Прогнать ее было бы жестоко. Неужели ты не веришь твоему Коле? Ее присутствие мне самому тягостно; но она очень весела; я послал ей денег, а ей только того и надо. Я толкнул ее на позорную дорогу, имей же сострадание ко злу, которое я сделал, – я только этого и прошу.

Н. П. Огарев – М. Л. Рославлевой (1836 год)

Я знал блаженство на земле, которого не променяю даже на блаженство рая, блаженство, за которое я могу забыть все страдания моих ближних, – все, повторяю, – блаженство, за которое я был бы готов отдать будущность, если бы она была несовместима с ним; это блаженство, Мария, – наша любовь. О, моя возлюбленная, да сгинут эти слова раздора, нарушающие наш союз, изгоним все, что походит на злобу, чтобы не исчезла любовь, чтобы она осталась чиста и ясна, как прежде. Будем бережно лелеять этот цветок, нездешний цветок, чья родина – небо. Мария, у меня навертываются слезы на глазах, когда я подумаю, что мы в ссоре! Великий Боже! мы, так сильно любившие друг друга! Спеши, спеши ко мне осушить эти слезы, кинься в объятия твоего возлюбленного, и пусть наша любовь будет основою Всемирного благоволения.

Мария, я – слабое дитя; не много нужно, чтобы разбить меня. И все-таки во мне еще достаточно хорошего, чтобы я заслуживал быть ввергнутым в ничтожество. Моя любовь глубока, Мария, – вот почему мне кажется, что я чего-нибудь стою; но в то же время она, к несчастью, лишает меня рассудка, именно потому, что она глубока; я во всем вижу посягательства на ее святость, и в эти минуты безумия мое сердце часто обливается кровью. Будь терпима и милосердна к этому безумству, Мария. Если я спорил нынче, то лишь потому, что считаю свою мысль согласной с принципом добра. Если я ошибался, прости мне, люби меня так, как тогда, когда ты дала мне это кольцо и этот крест, который я ношу на шее. Дай мне быть счастливым, дай мне сделать тебя счастливою. Правда, я эгоист, но я крепко держусь за нашу любовь, потому что это – глубочайшая жизнь моей души. Без нее все пусто. Но взвесь хорошенько, что ты будешь думать и делать, чтобы не сбиться с дороги любви универсальной, ибо отныне я буду применяться к тебе. Твоя любовь для меня важнее, нежели универсальная любовь. Боже благости, прости мне! Вот как я люблю тебя, Мария.

Н. П. Огарев – М. Л. Рославлевой (23 апреля 1836 года, 4 часа утра, за три дня до свадьбы)

Вчера я был печален, печален, как еще никогда. Почему? Не знаю. Конечно, это не была ревность, – я слишком верю тебе, чтобы ревновать. Но два чувства, две мысли волновали мой дух. Я был так удален от тебя в течение всего дня – вот одна из причин моей грусти. Затем все эти люди, Мария, эти люди, называющие себя твоими друзьями, – так недостойны тебя. Эта дама с печатью глупости во взоре, этот господин с маленькими лживыми глазами и толстым животом, с физиономией, обнаруживающей физические аппетиты, ужасно раздражали меня. Господи, думал я, возможно ли, чтобы этот олицетворенный материализм безнаказанно приближался к этому существу, столь чистому и святому, которое я называю моей Марией? Друг мой, речи этого господина меня ужасают; это эгоизм, порождающий полный скептицизм, но втиснутый в тесную рамку обыденности. Говорю тебе, этот человек испугал меня, потому что он неглуп. Волна мизантропии нахлынула на меня, и я не мог совладать с нею; мне приходилось делать усилие над собою, чтобы поддерживать разговор с этими людьми. По возвращении домой мизантропия обратилась на меня самого, и в памяти моей воскресла вся летопись моей порочности. Наконец, мое лихорадочное возбужденное воображение сосредоточилось на самом пороке, и моя мысль начала купаться в омуте разврата. В эту минуту я был недостоин тебя, Мария. Прости мне это, – может быть это было вызвано каким-нибудь расстройством в организме. Дух мой скоро воспарил, и теперь я снова твой со всей возвышенностью ума, со всей чистотой и непорочностью души, со всей святой страстью моей любви к тебе. От этого я не сомкнул глаз до сих пор, потому что ко всему этому внутреннему волнению присоединялись еще несносные прелести моей квартиры.

Теперь покой вернулся в мою душу. Утро восхитительно. Солнце едва встало и вид на равнину бесподобен. Теперь я могу думать о тебе и соединять с тобою все мысли, которые кишат в моей голове, и сливать с ними грезы о будущем.

Через три дня ты будешь моей женой, Мария, через три дня мы всецело будем принадлежать друг другу, и отныне наша судьба будет едина. Пойдем, Мария, исполнять ее. Я чувствую, некий Бог живет и говорит во мне, пойдем, куда нас зовет его голос. Если у меня довольно души, чтобы любить тебя, у меня,

наверное, хватит и силы, чтобы идти по следам Христа – на освобождение человечества. Ибо любить тебя, значит любить все благое, Бога, вселенную, потому что твоя душа открыта добру и способна охватить его, потому что твоя душа вся – любовь. Да, моя любовь к тебе делает меня гордым. Нынче я не промедлю минуты, чтобы прийти увидать тебя и обнять. В твоих объятиях, Мария, я чувствую себя – себя и целый мир идей и любви, и целую будущность, полную величия, – в твоих объятиях я чувствую себя возвышенным, возвышенным, как наша любовь. Никто не в силах понять нашу любовь; и пусть их не верят, дети грязи и праха, пусть тешатся своей язвительной улыбкой. Их неверие есть неверие несчастного, отрицающего все, чтобы освободить свою совесть от призрака добродетели, в существование Бога; они не верят, потому что не могут любить. Оставь их в жертву зависти и всем этим мелким терзаниям, которые вызывает в их порочной душе вид добродетели. Забудь и презри – я вручаю им этот дар от всей души.

Наша любовь, Мария, заключает в себе зерно освобождения человечества. Гордись ею! Наша любовь, Мария, это страж нашей добродетели на всю жизнь. Наша любовь, Мария, это залог нашего счастья. Наша любовь, Мария, это самоотречение, истина, вера в наших душах. Наша любовь, Мария, будет пересказываться из рода в род, и все грядущие поколения будут хранить нашу память, как святыню. Я предрекаю тебе это, Мария, ибо я пророк, ибо чувствую, что Бог, живущий во мне, предначертывает мне мою участь и радуется моей любви к тебе. Прости. Приди в мои объятия.

Н. П. Огарев – М. Л. Рославлевой (18 июля 1840 года, утро)

Хотел писать тебе вчера вечером; но был не в духе; лежал на диване и не мог ничего делать и лег спать в 10 часов. Читал и перечитывал твое письмо. […] Ты все же моя милая, добрая, умная, откровенная, прямодушная, Мария. Но многое и многое в твоих мнениях основано на условной фантастической жизни общества, а не на внутренней, глубокой, действительной человеческой жизни; часто ты непоследовательна в своих убеждениях, и сердце, ум с одной стороны спорят с привычками, вкусами с другой стороны. Повторю: иногда это меня сердит и оскорбляет, но по большей части мне это больно, мне тебя жалко, что ты добровольно отказываешься от лучшей доли человека. Так, напр., ты убеждена в прогрессе – и не можешь мысленно оторваться от круга, которого участь пребывать в status quo. Так, тебе все поэтическое важно, но не занимает тебя. Маша, меня это мучит – и не ради себя, а ради тебя; ты лишаешься лучших наслаждений. Поверь мне, что эти противоречия, которые существуют в тебе самой (если заглянешь в себя откровенно), – они-то главное противоречие между нами. Но все же хорошая человеческая сторона и в тебе, и во мне так сильна, что мы не можем оставаться в отношениях тупых и пошлых мужа и жены, а должны быть товарищами, друзьями, любовниками. Дело в том теперь, что в близких отношениях надо не досадовать друг на друга, а иметь друг на друга теплое влияние, полное любви. Оно не может иметь места, если ты в меня веришь. А я в тебя верю, право, верю. Да вот как: если бы ты перестала меня любить en amante[7] и была бы увлечена другим, если б я вынес это – я был бы лучшим твоим другом и тот должен бы сделать тебя счастливою под опасением смертной казни. В святость брака я не верю – а в святость любви верю. У нас брак сделался пугалом людей – и мы видим узы. Но истинная любовь не надевает оков, но только симпатизирует со всеми движениями любимой души. От этого привязанность к людям, которые близки к любимому нами существу. От этого я благословляю Галахова за все минуты душевной симпатии, которые ты с ним проводила. Брак мешает жить, а любовь побуждает к жизни, делает жизнь гармоническою, полною, необъятно широкою. Если ты думаешь, что между нами нет ничего общего, кроме названий мужа и жены – то прогони меня, просто прогони меня, – муж человек невыносимый. Но я, Маша, я полон надежды, я глубоко убежден и в моей любви к

тебе, и в том, что противоречия между нами мнимы, что они должны рушиться вследствие наших благородных натур. Гордиева узла я не могу разрубить, на это у меня нет ни капли гениальной воли. Но я буду всегда вести себя вследствие твоего желания: ты приманишь – приду, ты бросишься в мои объятья – возьму; ты махнешь – отойду, воротишь – ворочусь. Что об этом будут думать люди, мне до того дела нет. Не хотелось бы, чтоб они тебя позорили, а меня – сколько им угодно; к этому я совершенно равно душен. Любить par amour propre, pour qu'on dise que j'ai une iemme vertueuse[8] – я не могу; это гадко. Разврат лучше этого. Маша, Маша! если б ты немного захотела вникнуть в мою душу, ты нашла бы, что такое самолюбие для меня не существует. Нет! – я тебя люблю, как друга, подругу, моего ребенка, которому хотелось бы дать мне все возможное человеческое блаженство – лишь бы только человеческое, вытекающее из святой, вечной, божественной натуры человека, а не из пошлой, условной, ежедневной, формалистической, призрачной жизни общества. Если б я был ангел, Маша, я бы посадил тебя себе на крылья и унес бы на небо. Но и во мне много грязевого, мелкого и призрачного; я – ein Mensch der Naturgewalt[9] и не довольно просветлен духом, чтоб из светлого сознания действовать вследствие сильной воли. Вот, может быть, причина, отчего ты в меня мало веришь. Я на тебя имею мало влияния.

Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно!

Я часто думаю: зачем я живу на свете? Счастья женщины я не умел сделать. От этого все мои личные отношения сделались для меня мучительны. Оторваться от всех, кто мне близок, – что ж мне тогда делать на белом свете? А любить – больно. Что мое поэтическое и социальное призвание? – ничего не значат. В последнее особенно мало веры, хотя и много рвения. Однако во мне есть теплота, жар души, сильное стремление; иногда я даже живу такою полною жизнью, за минуту которой я не возьму ста тысяч других жизней. О! не все потеряно, не верю, чтоб все было потеряно. С тобой мы будем друзьями, с друзьями – союзом, а все, что во мне хорошего, выскажется в стихах. Маша, Маша, – люби твоего поэта! Послушай: если я и недостоин или буду недостоин любви – все же люби меня. Но полно толковать на этот лад; это слишком давит душу. Виноват ли я, что я сегодня грустен? А все эта проклятая слабость характера, подчинение der Naturgewalt[10]; между тем как спокойная духовная сила должна бы вести жизнь

ровно и стройно.

Когда приедешь? Привези мне фрак и черный жилет – словом, бальный костюм. Здесь по субботам бал, на котором куча народу; Лаубе пляшет; приезжай с ним танцевать; а m-me Laubene пляшет, я с ней буду говорить. Здесь живут веселее; но дам больше, чем кавалеров. Дамы любят надевать венки на вечер. C'est joli[11]. Кто-то была с m-me Nostiz в венке – очень недурна.

Привези мне пульник, мои пули скоро выйдут, вчера я отлично стрелял.

Скоро перейду вниз и буду ждать тебя.

Прощай, моя милая подруга! Можно так назвать? Взгляни на Елагину как на женщину, в которой много чувства, Innerlichkeit[12], светлого, живого человеческого чувства, с ней

можно будет сойтись. Дочь ее также. А m-lle Mojer не знаю.

Прощай! Целую Сталиньку.

Тебя целую и обнимаю. Будь моим другом, прижми меня к сердцу, отдай мне твое сердце – ему будет тепло от моей любви. Прощай!

Кланяйся Елагиной.

Еще замечание: любовь не исключительна (*exclusif*), а всеобъемлюща и всепреданна.

В. Г. Белинский (1810–1848)

Пусть добрые ду́хи окружают вас днем, нашептывают вам слова любви и счастья, а ночью посылают вам хорошие сны.

Всего 38 лет суждено было прожить русскому писателю, литературному критику, публицисту, философу-западнику Виссариону Григорьевичу Белинскому. За недолгие годы своей жизни Белинский написал много сильных и возымевших большой отклик статей в журналах «Телескоп», «Отечественные записки», «Современник». Вел активную общественно-политическую деятельность вместе с друзьями – Герценом, Панаевым, Надеждиным.

Преуспел Белинский и в «делах любовных». Взаимные чувства захлестнули Виссариона Григорьевича и Марию Орлову, служившую в Москве классной дамой в институте. В 1843 г. они поженились. Свадьбе предшествовала довольно обширная переписка. Литературный дар Белинского, несомненно, заметен и в любовных посланиях, каждый раз непохожих друг на друга, но воспевающих прекрасное чувство – любовь.

В. Г. Белинский – невесте М. В. Орловой, впоследствии его жене (Петербург, 7 сентября 1843 года, вторник)

Вчера должны были вы получить первое письмо мое к вам. Я знаю, с каким нетерпением, с каким волнением ждали вы его; знаю, с какою радостью и каким страхом услышали вы, что есть письмо к А. В., и какого труда стоило вам с сестрою принять на себя вид равнодушия. Я не мог писать к вам тотчас же по приезде в Петербург, потому что жил на биваках и был вне себя. Первое письмо мое написано кое-как. В продолжение дней, в которые должно было идти оно в М., я только и думал о том, когда вы получите его; я мучился тем же нетерпением, как и вы; мысль моя погоняла ленивое время и упреждала его; с радостью видел я наступление вечера и говорил себе: «Днем меньше!» Но вчера я был как на углях, рассчитывая, в котором часу должны вы получить мое письмо. Я не могу видеть вас, говорить с вами, и мне остается только писать к вам; вот почему второе письмо мое получите вы, не успевши освободиться из-под впечатления от первого. Мысль о вас делает меня счастливым, и я несчастен моим счастьем, ибо могу только думать о вас. Самая роскошная мечта стоит меньше самой небогатой существенности; а меня ожидает богатая существенность: что же и к чему мне все мечты, и могут ли они дать мне счастье? Нет, до тех пор, пока вы не со мной, – я сам не свой, не могу ничего делать, ничего думать. После этого очень естественно, что все мои думы, желания, стремления сосредоточились на одной мысли, в одном вопросе: когда же это будет? И пока я еще не знаю, когда именно, но что-то внутри меня говорит мне, что скоро. О, если бы это могло быть

в будущем месяце!

Погода в Петербурге чудесная, весенняя. Она прибыла сюда вместе со мною, потому что до моего приезда здесь были дождь и холод. А теперь на небе ни облачка, все облито блеском солнца, тепло, как в ясный апрельский день. Вчера было туманно, и я думал, что погода переменится; но сегодня снова блещет солнце, и мои окна отворены. А ночи? Если бы вы знали, какие теперь ночи! Цвет неба густо темен и в то же время ярко блестящ усыпавшими его звездами. Не думайте, что я не берегусь, обрадовавшись такой погоде. Напротив: я и днем, как и вечером, хожу в моем теплом пальто, чему, между прочим, причиною и то, что еще не пришел в П. посланный по транспорту ящик с моими вещами, где и обретается мое летнее пальто. Впрочем, днем нет никакой опасности ходить в одном сюртуке, без всякого пальто, но вечером это довольно опасно, и вот ради чего я и днем жарюсь… (в) зимнем пальто. Мне кажется, что в Москве теперь должна быть хорошая погода. Не забудьте уведомить меня об этом: московская погода очень интересует меня. Не поверите, как жарко: окна отворены, а я задыхаюсь от жару. На небе так (ярко) и светло, а на душе так легко и весело!

Без меня мои растения ужасно разрослись, а что больше всего обрадовало меня, так это то, что без меня расцвела одна из моих олеандр. Я очень люблю это растение, и у меня их целых три горшка. Одна олеандра выше меня ростом. После тысячи мелких и ядовитых досад и хлопот, Боткин, наконец, уехал за границу. Это было в субботу (4 сент.). Я провожал его до Кронштадта. День был чудесный, – и мне так отрадно было думать и мечтать о вас на море. Расстались мы с Б. довольно грустно, чему была важная причина, о которой узнаете после. Странное дело! Я едва мог дождаться, когда перейду на мою квартиру, а тут мне тяжела была мысль, что я вот сегодня же ночую в ней. И теперь еще мне как-то дико в ней. Впрочем, это будет так до тех пор, пока я вновь не найду самого себя, т. е. пока вы не возвратите меня самому мне. До тех пор мне одно утешение и одно наслаждение: смотреть на стены и мысленно определять перемещение картин и мебели. Это меня ужасно занимает.

Скажите: скоро ли получу я от вас письмо? Жду – и не верю, что дождусь, уверен, что получу скоро – и боюсь даже надеяться. О, не мучьте меня, но ведь вы уже послали ваше письмо, и я получу его сегодня, завтра! – не правда ли?

Прощайте. Храни вас Господь! Пусть добрые ду́хи окружают вас днем, нашептывают вам слова любви и счастья, а ночью посылают вам хорошие сны. А я, – я хотел бы теперь хоть на минуту увидать вас, долго, долго посмотреть вам в глаза, обнять

ваши колени и поцеловать край вашего платья. Но нет, лучше дольше, как можно дольше не видаться совсем, нежели увидеться на одну только минуту и вновь расстаться, как мы уже расстались раз. Простите меня за эту болтовню; грудь моя горит; на глазах накипает слеза: в таком глупом состоянии обыкновенно хочется сказать много и ничего не говорится, или говорится очень глупо. Странное дело! В мечтах я лучше говорю с вами, чем на письме, как некогда заочно я лучше говорил с вами, чем при свиданиях. Что-то теперь Сокольники. Что заветная дорожка, зеленая скамеечка, великолепная аллея? Как грустно вспомнить обо всем этом, и сколько отрады и счастья в грусти этого воспоминания!

В. Г. Белинский – невесте М. В. Орловой, впоследствии его жене (Петербург, 14 сентября 1843 года)

Наконец-то вы и Бог сжалились надо мною. О, если бы вы знали, чего мне стоило ваше долгое молчание. Первое письмо мое пошло к вам 3-го сент. (в пят.), след. 6-го (в понед.), вы получили его. Я расчел, что во вторник Агр. В. дежурная, и потому думал, что ваш ответ пойдет в среду (8-го), а ко мне придет в субботу. Но в субботу ничего не пришло, и мне с чего-то вообразилось, что я жду вашего ответа на мое письмо уже недели две. В воскр. нет, я приуныл, – и в голову полезли разные вздоры: то мое письмо пропало на почте и не дошло до вас, то вы больны, и больны тяжко, то (смейтесь надо мною – я знал, что я глуп, – ведь вы же сделали меня дураком) вы вдруг охладели ли ко мне. Я не мог работать (а с работою и так опоздал, все думая о вас), мне было тяжело, жизнь опять приняла в глазах моих мрачный колорит. К тому же с воскресенья началась холодная и дождливая погода, а погода всегда имеет сильное влияние на расположение моего духа. В понедельник опять нет, сегодня ждал почти до 3-х часов, и с горя, несмотря на дождь, пошел обедать на другой конец Невского проспекта. Возвращаясь домой, возымел благое желание утешить себя в горе двумя десятками груш, твердо решившись истребить их менее, чем в двадцать минут. Прихожу домой, и из залы вижу в кабинете, на бюро, что-то вроде письма. У меня зарябило в глазах и захватило дух. Рука женская, но, может быть, это от Бак-х[13]. Н-т, на конверте штемпель московский. Что ж бы вы думали! – я сейчас схватил, распечатал, прочел? – Ничуть не бывало. Я переоделся, дождался, пока мой валет уйдет в свою комнату, – а сердце между тем билось…

Боже мой! сколько мучений прекратило ваше письмо! Сколько раз думал я, если это от болезни, то сохрани и помилуй меня Бог (это чуть ли не первая была моя молитва в жизни), если же это так – нынче да завтра, то прости ее, Господи! Я стал робок и всего боюсь, но больше всего в мире – вашей болезни. Мне кажется, что я так крепок, что смешно и думать и заботиться обо мне, но вы – о, Боже мой, Боже мой, сколько тяжелых грез, сколько мрачных опасений!

Тысячу и тысячу раз благодарю вас за ваше милое письмо. Оно так просто, так чуждо всякой изысканности и между тем так много говорит. Особенно восхитило оно меня тем, что в нем ваш характер, как живой, мечется у меня перед глазами, – ваш

характер, весь составленный из благородной простоты, твердости и достоинства. Ваши выговоры мне за то и другое. Я перечитывал их слово в слово, буква по букве, медленно, как гастроном, наслаждающийся лакомым кушаньем. Я дал себе слово, как можно больше провиниться перед вами, чтобы вы как можно больше бранили меня. Впрочем, вы в одном вашем упреке мне решительно не правы. Как вы мало меня знаете, говорите вы мне, и говорите неправду. Я вас знаю хорошо, а самая ваша бестребовательность могла меня уже заставить немножко зафантазироваться. Притом же, как русский человек, я как-то привык думать, что, женясь, надо жить шире. Это, конечно, глупо. Я вас знаю – знаю, что вас нельзя ни удивить, ни обрадовать мелочами и вздорами, но не отнимайте же совсем у меня права думать больше о вас, чем о себе. Я знаю, что для вас все равно, тот или этот стул, лишь бы можно было сидеть на нем, но что же мне делать, если я счастлив мыслью, что лучший стул будет у вас, а не у меня. Глупо, глупо и глупо – вижу сам, да разве я претендую теперь хоть на капельку ума? Разве я не знаю, что с тех пор, как начал посещать Сок.[14], – сделался таким дураком, каким еще не бывал. Теперь я понял ту великую истину, что на свете только дураки счастливы. Я было отчаялся в возможности быть сколько-нибудь счастливым, не понимая того, что не велика беда, если родился не дураком, – стоит сойти с ума… Зарапортовался!

Все, что вы пишете о том, что было с вами со дня нашей разлуки, все это так истинно, так естественно и так понятно мне. За ваши мысли о неприличии вносить в общество свою *нарядную печаль* мне хотелось бы поцеловать вашу ножку. А что вы пустились в пляс, это мне не совсем по сердцу, потому что усиленное движение, может быть, вам вредно, пожалуй, еще простудитесь.

А ведь Аграфена-то Васильевна права, упрекая вас, что вы не говорили со мною откровенно о будущем. Я было не раз думал начинать такие разговоры, да как-то все прилипал язык к гортани. Впрочем, пользы от этого для меня не было бы никакой, но эти разговоры делали бы меня безумно счастливым и более и более сближали бы нас друг с другом. А то меня всегда и постоянно мучила мысль, что мы не довольно близки друг к другу, что мы ребячимся, сбиваясь немного на провинциальный идеализм.

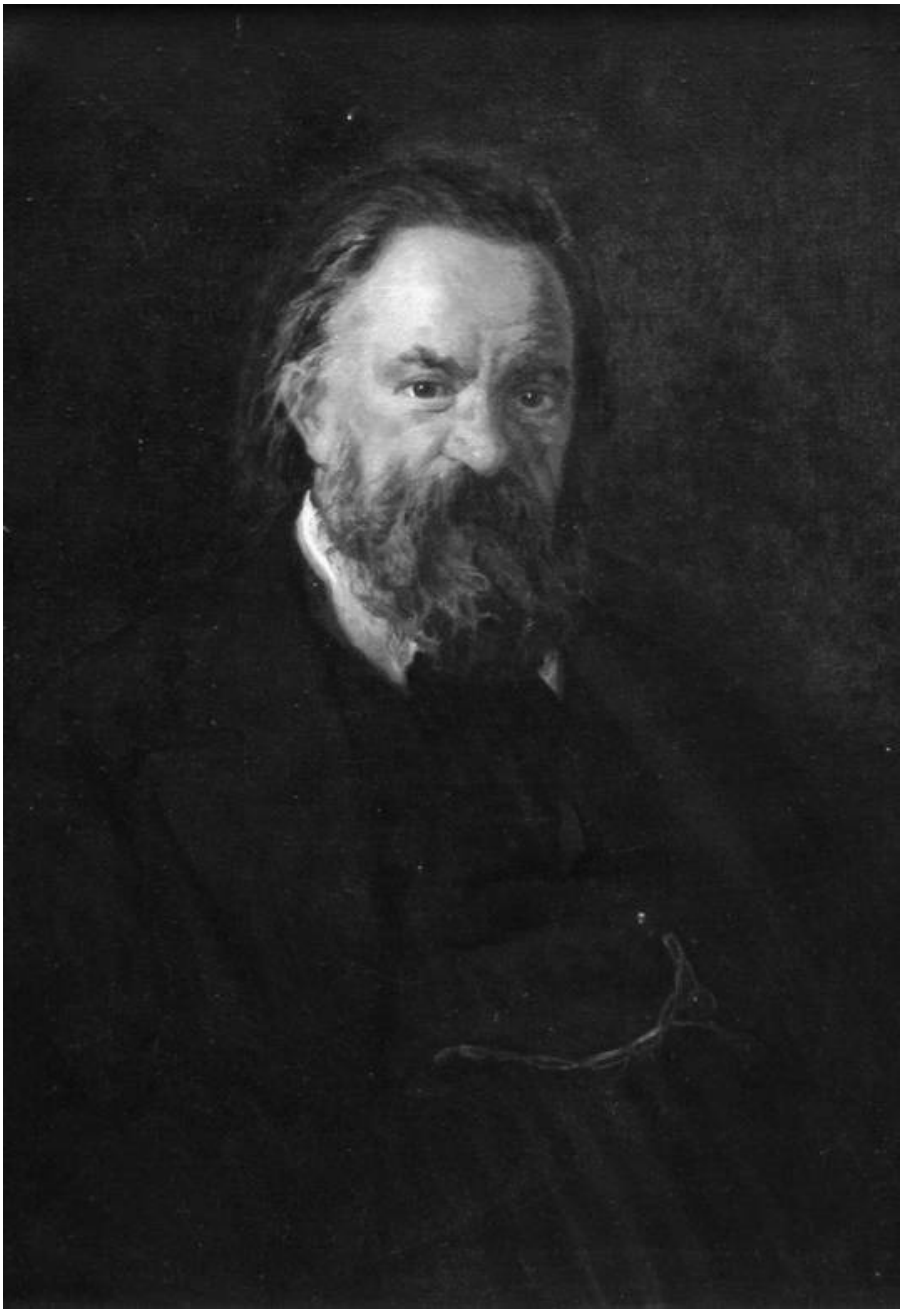
Мое здоровье! Да Бог его знает, – говорю вам, что не разберу, жив ли я или умер. В воскресенье, поехав обедать к Комарову, простудился слегка – кашель и насморк – оттого, что теплое пальто насквозь промокло от дождя. Впрочем, простудный кашель – наслаждение в сравнении с нервическим и желудочным. Теперь

все прошло. Я должен покаяться пред вами в грехах. Вот в чем дело: не иметь никого, с кем бы я мог иногда поговорить о вас, – для меня мучение. Вот почему Мария Алекс. Комарова знает то, чего не знают Корши. Я сказал ее мужу, ибо сам не имел духа даже передать ей вашего поклона. Прихожу после и вижу, что ей как-то неловко со мною. Хочется ей потрунить на мой счет, – и боится. Тогда я сам прехрабро начал наводить ее на шутки на мой счет. И что же? Она так конфузилась, так ярко вспыхивала, что мы с ее мужем стали смеяться, а я просто был в неистовом восторге! И было от чего! Я, который краснею за других – не только за себя, был тут геройски бесстыден, а бедная М.А. за меня резалась. Но в прошлое воскр. мы с нею таки потолковали о вас и об институте. Вообще я рад, что К-вы знают: чрез это я обдерживаюсь, привыкаю к мысли о новом положении и приучаюсь не бояться фразы: «Все был не женат, а то вдруг женат!»

Я совершенно согласен с А.В., что вы были лучше всех на маленьком бале нашей начальницы. Другие могли быть свежее, грациознее, миловиднее вас, – это так, но только у одной у вас черты лица так строго правильны и дышат таким благородством, таким достоинством. В вашей красоте есть то величие и та грандиозность, которые даются умом и глубоким чувством. Вы были красавицей в полном значении этого слова, и вы много утратили от своей красоты, но при вас осталось еще то, чему позавидуют и красота и молодость и что не может быть отнято от вас никогда. Я это давно уже начал понимать, но опыт – лучший учитель, и я недавно чужим опытом, еще боле убедился в том, что ничего нет опаснее, как связывать свою участь с участью женщины за то только, что она прекрасна и молода. Долго было бы распространяться об этом «чуждом опыте», и мне хотелось бы рассказать вам о нем не на письме. И потому пока скажу вам одно, что Б.[15] глубоко завидует мне, а я ему нисколько, или, лучше сказать, очень, очень жалею его и понимаю его восклицания еще в Москве: «Зачем ей не 30 лет?»

Хотелось бы мне сказать вам, как глубоко, как сильно люблю я вас, сказать вам, что вы дали смысл моей жизни, и много, много хотелось бы сказать мне вам такого, что вы и без сказыванья должны знать. Но не буду говорить, потому что на словах и на письме все это выходит у меня как-то пошло и нисколько не выражает того, что бы должно было выразить. Теперь я понимаю, что поэту совсем не нужно влюбляться, чтобы хорошо писать о любви. Теперь я понял, что мы лучше всего умеем говорить о том, чего бы нам хотелось, но чего у нас нет, и что мы совсем не умеем говорить о том, чем мы полны.

Прощайте, Marie. Вы просите меня не мучить вас, заставляя долго ждать моих писем, я отвечаю вам в тот же день, как получил ваше письмо, и посылаю мой ответ завтра. Так хочу я всегда делать.



А. И. Герцен (1812–1870)

…ты прелестна, ты выше моего идеала, я на коленях пред тобою, я молюсь тебе, ты для меня добродетель, изящное всебытие…

Сын сердца – так с немецкого переводится фамилия русского писателя, публициста, философа, революционера Александра Ивановича Герцена. Такую фамилию придумал для Александра его отец – И. А. Яковлев, богатый помещик.

В 1833 г. Герцен закончил физико-математическое отделение Московского университета, развивал с группой друзей революционные идеи, за что долго находился в ссылке.

Именно в годы ссылки из Владимира, Перми, Вятки Александр Иванович вел обширную и замечательную переписку с любимой с детства кузиной Н. А. Захарьиной. Идеальная любовь их закончилась браком – Герцен тайно увез невесту из Москвы во Владимир. В 1847 г. они навсегда уехали за границу.

А. И. Герцен – Н. А. Захарьиной (15 января 1836 года)

Я удручен счастьем, моя слабая земная грудь едва в состоянии перенесть все блаженство, весь рай, которым даришь ты меня. Мы поняли друг друга! Нам не нужно, вместо одного чувства, принимать другое. Не дружба, любовь! Я тебя люблю, Natalie, люблю ужасно, сильно, насколько душа моя может любить. Ты выполнила мой идеал, ты забежала требованиям моей души. Нам нельзя не любить друг друга. Да, наши души обручены, да будут и жизни наши слиты вместе. Вот тебе моя рука, она твоя. Вот тебе моя клятва, ее не нарушит ни время, ни обстоятельства. Все мои желания, думал я в иные минуты грусти, несбыточны; где найду я это существо, о котором иногда болит душа? Такие существа бывают создания поэтов, а не между людей. И возле меня, вблизи, расцвело существо, говорю без увеличений, превзошедшее изящностью самую мечту, и это существо меня любит, это существо – ты, мой ангел. Ежели все мои желания так сбудутся, то где я возьму достойную молитву Богу?

А. И. Герцен – Н. А. Захарьиной (20 июля 1836 года)

Итак, два года черных, мрачных канули в вечность с тех пор, как ты со мною была на скачке; последняя прогулка моя в Москве, она была грустна и мрачна, как разлука, долженствовавшая и нанесть нам слезы, и дать нам боле друг друга узнать. Божество мое! Ангел! Каждое слово, каждую минуту воспоминаю я. Когда ж, когда ж прижму я тебя к моему сердцу? Когда отдохну от этой бури? Да, с гордостью скажу я, я чувствую, что моя душа сильна, что она обширна чувством и поэзиею, и всю эту душу с ее бурными страстями дарю тебе, существо небесное, и этот дар велик. Вчера был я ночью на стеклянном заводе. Синий алый пламень с каким-то неистовством вырывался из горна и из всех отверстий, свистя, сожигая, превращая в жидкость камень. Но наверху, на небе, светила луна, ясно было ее чело и кротко смотрела она с неба. Я взял Полину за руку, показал ей горн и сказал: «Это я!» Потом показал прелестную луну и сказал: «Это она, моя Наташа!» Тут огонь земли, там свет неба. Как хороши они вместе!

Любовь – высочайшее чувство; она столько выше дружбы, сколько религия выше умозрения, сколько восторг поэта выше мысли ученого. Религия и любовь, они не берут часть души, им часть не нужна, они не ищут скромного уголка в сердце, им надобна вся душа, они не длят ее, они пересекаются, сливаются. И в их-то слитии жизнь полная, человеческая. Тут и высочайшая поэзия, и восторг артиста, и идеал изящного, и идеал святого. О, Наташа! Тобою узнал я это. Не думай, чтоб я прежде любил так; нет, это был юношеский порыв, это была потребность, которую я спешил удовлетворить. За ту любовь ты не сердись. Разве не то же сделало все человечество с Богом? Потребность поклоняться Иегове заставила их сделать идола, но оно вскоре нашло Бога истинного, и он простил им. Так и я: я тотчас увидел, что идол не достоин поклонения, и сам Бог привел тебя в мою темницу и сказал: «Люби ее, она одна будет любить тебя, как твоей пламенной душе надобно, она поймет тебя и отразит в себе». Наташа, повторяю тебе, душа моя полна чувств сильных, она разовьет перед тобой целый мир счастья, а ты ей возвратишь родное небо. Провидение, благодарю тебя!

Целую тебя, ангел мой, быть может, скоро, через месяц этот поцелуй будет не на письме, но на твоих устах!

Твой до гроба

Александр

А. И. Герцен – Н. А. Захарьиной (Вятка, 6 сентября 1836 года)

Сердце полно, полно и тяжело, моя Наташа, и потому я за перо писать к тебе, моя утренняя звездочка, как ты себя назвала. О, посмотри, как эта звезда хороша, как она купается в лучах восходящего солнца, и знаешь ли ее название? – Венера – любовь! Всегда восхищался я ею, пусть же она останется твоею эмблемой, такая же прелестная, такая же изящная, святая, как ты.

В самый день твоих именин получил я два письма от тебя, – сколько рая, сколько счастья в них!

О, Боже, Боже, быть так любимым и такою душой! Наташа, я все земное совершил, остается еще одно наслаждение – упиться славой, рукоплесканием людей, видеть восторг их при моем имени, – словом, совершить что-либо великое, и тогда я готов умереть, тогда я отдам жизнь, ибо что мне может дать жизнь тогда? Я одного попросил бы у смерти: взглянуть на тебя, сказать слово любви голосом, взглядом, поцелуем, один раз: без этого моя жизнь не полна еще.

Ты пишешь, что я не жил никогда с тобою, что, может быть, в тебе множество недостатков, которых я не знаю, что ты далека от моего идеала. Перестань, ангел мой, перестань, нет, ты прелестна, ты выше моего идеала, я на коленях пред тобою, я молюсь тебе, ты для меня добродетель, изящное всебытие, и я тебя так знаю, как только мог подняться до твоей высоты. Ведь и ты не жила со мною, но я смело говорю: твое сердце не ошиблось, оно нашло именно того, который мог ему дать блаженство; я понимаю, чего хотела твоя душа, – я удовлетворю ей. Из этого не следует, чтоб я мог сделать счастливою всякую девушку с благородным сердцем, – о, нет, именно тебя, тебя! Мой пламень сжег бы слабую душу, она не вынесла бы моей любви, она бы не могла удовлетворить безумным требованиям моей фантазии, ты превзошла их. Клянусь тебе нашею любовью, что никогда я не видал существа, в котором было бы столько поэзии, столько грации, столько любви и высоты, и силы, как в тебе. Это все, что только могла придумать мечта Шиллера. Я иногда, читая твои письма, останавливаюсь от силы и высоты твоей; тебя воспитала любовь, ты беспрерывно становишься выше. Возьми одну мысль твою идти в Киев, – она безумная, нелепая, но высота ее превышает высоту самых великих поступков в истории. Слезы навернулись, когда я читал это. Я не спорю, может, другие скажут, что ты мечтательница, что никогда не будешь хозяйка,

т. е. жена-кухарка, но тот, у кого в душе горит огонь высокого, тот поймет тебя, и ему не нужно других доказательств кроме одного письма. А я, любимый тобою, любящий тебя, я будто не знаю моего ангела, моей Наташи?

А. И. Герцен – Н. А. Захарьиной (Владимир, 21 января 1836 года)

Сегодня ночью я очень много думал о будущем. Мы должны соединиться, и очень скоро, я даю сроку год. Нечего на них смотреть. Я обдумал целый план, все вычислил, но не скажу ни слова, в этом отношении от тебя требуется одно слепое повиновение.

Маменька приехала. Твои письма, едва прочтенные, лежат передо мною, а я мрачен, черен, как редко бывал и в Вятке. Да, завеса разодрана, вот она истина нагая, безобразная. Наташа, ради Бога, я умоляю тебя, не пиши ни слова против следующих слов: ты должна быть моя, как только меня освободят. Как? – все равно. Найдется же из всех служителей церкви один служитель Христа. Но ни слова против; Наташа, ангел, скажи да, отдайся совершенно на мою волю. Видишь ли, ангел мой, я уж не могу быть в разлуке с тобою, меня любовь поглотила, у меня уж, кроме тебя, никого нет. Ты писала прошлый раз, что жертвуешь для меня небом и землею. Я жертвую одним небом. Слезы на глазах – никого, никого – ты только. Но ты имеешь надо мной ужасную власть, ты меня отговоришь, и я буду страдать, буду мрачен, буду, как ты не любишь меня. Ежели скажешь да, я буду обдумывать, это будет моя игрушка, мое утешенье, не отнимай у изгнанника. Все против меня. Это прелестно: наг, беден, одинок, выйду я с своей любовью. День, два счастья полного, гармонического. А там – два гроба! Два розовых гроба. Я не хочу перечитывать писем-послов; только зачем ты так хлопочешь об ушибе, душа размозжена хуже черепа. Фу, каким морозом веет от этого старика, которому мой ангел, моя Наташа, целует с таким жаром руку. Ты находишь прелесть в этой подписи: Наташа Герцен; а ведь он не Герцен, – Герцен прошлого не имеет, Герценых только двое: Наталия и Александр, да над ними благословение Бога. Знаешь ли ты, что Сережа говорил об тебе, что ты безумная, что ты не должна ждать лучшего жениха, как дурак тот, что ты не имеешь права так разбирать, а его сестры имеют. От сей минуты я вытолкнул этого человека из сердца, он смеет называть меня братом, – в толпу, тварь, в толпу, куда ты выставил голову, в грязь – топись. Ангелы не знают этого ужасного чувства, которое называют месть, а я знаю, стало быть, я хитрее ангелов.

Наташа, божество мое, нет, мало, Христос мой, дай руку, слушай: никто так не был любим, как ты. Всей этой

вулканической душой, мечтательной, я полюбил тебя, – этого мало: я любил славу – бросил и эту любовь прибавил, я любил друзей – и это тебе, я любил… ну, люблю тебя одну, и ты должна быть моя, и скоро, потому что я сиротою без тебя. Ах, жаль мне маменьку. Ну, пусть она представит себе, что я умер. Я плачу, Наташа. Ах, кабы я мог спрятать мою голову на твоей груди. Ну, посмотрим друг на друга долго. Да не пиши, пожалуйста, возражений, ты понимаешь чего. Дай мне окрепнуть в этой мысли. Прощай. Ты сгоришь от моей любви, это огонь, один огонь.

Твой Александр

А. И. Герцен – Н. А. Захарьиной (Владимир, 3 марта 1838 года, 9 часов утра)

Итак, совершилось. Теперь я отдаюсь слепо Провидению, только то я упросил, просьба услышана, твой поцелуй горит на моих устах, рука еще трепещет от твоей руки. Наташа, я говорил какой-то вздор, говорил не языком, ту речь, широкую как Волга, слышала ты. Это свиданье наше, его у нас никто не отнимет. Это первая минута любви полной, память ее пройдет всю жизнь, и когда явится душа там, она скажет Господу, что испытала все святое, скажет о 3 марте. Все волнуется… но не так, как вчера, о, нет, что-то добродетельное (я не умею выразить), светлое, упоение – слышал я слово любви из твоих уст, что же я услышу когда-нибудь после полнее, голос Бога? – Это он-то и был. Ты благословила меня, когда я пошел, но вряд заметила ли, что тогда было со мной, я приподнял руку, хотел благословить тебя, взглянул, и рука опустилась, передо мной стоял ангел, чистый, Божий – молиться ему, – а благословляет он, и я не поднял руку.

Но теперь все это у меня смутно, перепутано, все поглощено одним – видел любовь, видел воплощение ангела, и быстро, как молния, и также ярко оно прошло, – о, нет, оно в нас, оно вечно, это свиданье. – Теперь я силен и свят, – мне свиданье было необходимо. Natalie, пусть же Провидение безусловно царит над нами, лишь бы указывало оно путь, – идем. Быть великим человеком, быть ничтожным, – все, все, да и разницы нет, выше я не буду. Не молния, а северное сияние, нежно-лазоревое, трепещущее, окруженное снегом. Я чувствовал огонь твоих щек, твой локон касался, я прижимал тебя к этой груди, которая три года задыхалась при одной мысли. Ты говорила. Чего же больше, умрем. Нет, и это слишком, воля Провидения безусловная. И будто это не сон? Ну, пусть сон, за него нельзя взять не сон вселенной. Довольно, прощай, еще благослови путника, еще пламенный поцелуй его любви тебе.

Слава Богу, Слава Богу! – (*вырвано слово*) я не хотел давеча долее оставаться, – мне было довольно, о, ничего подобного и тени не было в моей жизни. (*На том же листе бумаги написано рукой Натальи Александровны*):

1838 года, марта 3-е, четверг, 7-й час утра. Я видела небо отверзто, я слышала глас Бога: возлюбленные! Слава в вышних Богу!

А. И. Герцен – Н. А. Захарьиной (9 марта 1838 года, среда)

Милая, милая невеста! Что чувствовал и сколько чувствовал я неделю тому назад? Каждая минута, секунда была полна, длинна, не терялась, как эта обычная стая часов, дней, месяцев. О, как тогда грудь мешала душе, эта душа была светоносна, она хотела бы порвать грудь, чтоб озарить тебя. Пятый час; я стоял перед Emilie теперь, а внутри кипела буря, нет, не буря, а предчувствие, – его испытает природа накануне преставления света, ибо преставление света – верх торжества природы. Душа моя до того была поглощена тобою, что я почти не обратил внимания на город, и ежели я ему бросил привет горячий, со слезою, когда его увидел, он не должен брать его на свой счет, и этот привет был тебе, с ним мы увидимся после. Возвращаясь, я еще меньше думал об нем, смотрел пристально и видел в воздухе туманно набросанный образ Девы благословляющей. Когда мы искали дом Emilie, извозчик провез мимо вас, я увидел издали дом и содрогнулся, я умолял К. воротиться, так сразу я не мог вынести тот дом. Вечером я подошел смелее, мысль близости обжилась в груди. Утром, когда я всходил, мне так страшно было, я убежал бы от собачонки, от птицы. Ты дала мне время собраться. Ожидая тебя, я стоял, прислонясь локтем к печи и закрыв лицо рукою, – поклонись этому месту. Потом я бросил взгляд, любви полный, на фортепиано и на пяльцы, которые стояли на полу (верно, твои), потом быстро влетела ты, – об этом и теперь еще не могу говорить. Да и никогда не буду говорить, оно так глубоко в душе, как мысль бессмертия. Знаю одно: я тебя разглядел, когда уже мы сидели на диване, до этого наши души оставили тела, и были одна душа, они не могли понять себя врозь.

8 часов вечера. Дай, дай, моя подруга, моя избранная, дай еще прожить тем днем. Восемь… Льется огонь из верхнего окна, я стоял в переулке, прижавшись к забору, К. ушел, я один. Вот Аркадий – так, стало, в самом деле я близко, вот Костенька – да, да, я ее увижу, завтра в пять часов в путь. «Чего вы желали бы теперь от Бога?» – спросил, шутя, гусар вечером. «Чтобы этот пятак превратился для мира в часы». Гусар думал, что я с ума сошел. «Для чего?» – «Он не умет показывать ничего, кроме пять, а в пять туда к ней». К подробностям этих дней надобно сказать, что я два дня с половиной ничего не ел, кусок останавливался в горле.

Позже. Ты моя невеста, потому что ты моя. Я тебе сказал: «У меня никого нет, кроме тебя». Ты ответила: «Да, ведь я одна твое создание». Да, еще раз, ты моя совершенно, безусловно моя, как мое вдохновение, вылившееся гимном. И как вдохновение поэта выше обыкновенного положения, так и ты, ангел, выше меня, – но все-таки моя. Оно телесно вне меня, но оно мое, оно я. Тебе Бог дал прелестную душу, и прелестную душу твою вложил в прелестную форму. А мысль в эту душу заронил я, а проник ее любовью – я, я осмелился сказать ангелу: люби меня, и ангел мне сказал: люблю. Я выпил долгий поцелуй с ее уст, один я, и передал ей поцелуй. Моя рука обвилась около ее стана, – и ничья не обовьется никогда. Понимаешь ли эту поэзию, эту высоту моего полного обладания. В минуту гордого упоенья любви я рад, что ты не знала любви отца и матери и эта любовь пала на мою долю. Вчера читал я Жан-Поля, он говорит: любовь никогда не стоит, или возрастает, или уменьшается, – я улыбнулся и вздумал предостеречь тебя, а то я кончу тем, что слишком буду любить, сожгу любовью. Скоро ночь – святая, а там и седьмой час.

Отчего же я так спокоен теперь, а 3 марта не прошедшее, вот оно, живое, светлое в груди. Умереть, – нет еще, не вся чаша жизни выпита, жить, жить! Будем сидеть долго, долго, целую ночь, и когда солнце проснется, и когда утренний Геспер блеснет, выйдем к ним и под открытым небом сядем с ними, тогда умрем. Стены давят, опасность давит, быстрота давит. Тогда же одна гармония разольется на душе, ей будет тепло, и труп согреется солнцем. Или на закате, когда усталое оно падет на небосклон, и кровью разольется по западу и изойдет в этой крови, и природа станет засыпать, – тогда умрем. И роса прольет слезу природы на холодное тело. А чтоб люди были далеко, далеко! Ты писала как-то: в их устах наша любовь выходит какой-то мишурной. Это ужасно! Да, я ни слова о тех людях, которые не люди, но большая часть людей в самом деле так судят. Нас поймет поэт, – этот помазанник Божий, мир изящного, поймет дева несчастная, поймет юноша, любящий безгранно (а не любивший, тот, для кого любовь былое, воспоминанье – тот покойник, труп без смысла). Из друзей близких найдутся, которые пожмут плечами и пожалеют обо мне от души: «Она увлекла его с поприща, на женщину променял он славу»… и посмотрят свысока. Слава Богу, что пустой призрак, слава, наука, может наполнять их душу; ежели бы не было его и не было бы девы, они ужаснулись бы пустоты, и их грудь проломилась бы, как хрусталь, из которого вытянут воздух. Нет, Наташа, я знаю все расстояние от жизни прежней и до жизни в тебе. Тут-то мне раскрылось все, а тебе целая вселенная любви, целый океан, – носись же, серафим, над этим океаном, как Дух

Божий над миром, им созданным из падшего ангела.

Natalie, Natalie! До завтра, прощай. – Завтра письмо, как будто год не имел вести, душа рвется к письму. Неужели может быть любовь полнее нашей? Нет!

Жаль Emilie, зачем она едет, она должна быть, когда на наших головах будет венец, – это зрелище еще лучше вида с Эльбруса. Благослови твоего суженого – Александра.

Н. А. Захарьина

Друг мой, я была счастлива тем, что могла восхищаться тобою, любить тебя, становилась выше и добродетельнее от желания быть ближе к твоему идеалу…

Наталья Александровна Захарьина и Александр Иванович Герцен с детства любили друг друга. Их любовь выросла вместе с ними, они поженились. Большая часть их семейной жизни прошла в Париже. Она не была бесконечно счастливой, на долю супругов выпало немало испытаний. Кровавый мятеж 1848 г. в Париже, а потом тяжелая болезнь маленькой дочери роковым образом подействовали на Наталью Александровну, склонную к депрессии. Нервы ее напряжены, и она «вступает в слишком близкие отношения с Гервегом» (известным немецким поэтом и социалистом, самым близким тогда другом Герцена), тронутая жалобами на одиночество его непонятой души. Наталья Александровна продолжает любить мужа, сложившееся положение мучает ее, и она остается с Герценом.

После примирения супруги несколько месяцев живут в безграничном счастье. Но вскоре на них вновь обрушивается горе – в кораблекрушении погибают мать Герцена и сын Коля. Захарьина, находясь в тяжелейшей депрессии, умирает. Герцен долго оплакивает ее гибель и, чтобы забыться, уезжает в Англию.

Н. А. Захарьина – А. И. Герцену (Москва, 16 января 1836 года)

Когда ты сказал мне, Александр, что отдал мне самого себя, я почувствовала, что душа моя чиста и высока, что все существо мое должно быть прекрасно. Друг мой, я была счастлива тем, что могла восхищаться тобою, любить тебя, становилась выше и добродетельнее от желания быть ближе к твоему идеалу; казалось, до него мне, как до звезды небесной, высоко. Я жила одним тобою, дышала твоею дружбой, и весь мир был красен мне одним тобою. Я чувствовала, что я сестра тебе и благодарила за это Бога; искала, чего желать мне, – клянусь, не находила, так душа моя была полна, так довольно ей было твоей дружбы. Но Бог хотел открыть мне другое небо, хотел показать, что душа может переносить большее счастье, что нет границ блаженству любящим Его, что любовь выше дружбы… О, мой Александр, тебе знаком этот рай души, ты слыхал песен его, ты сам певал ее, а мне в первый раз освещает душу его свет, я – благоговею, молюсь, люблю.

Друг мой, Александр, я бы желала сделаться совершенным ангелом, чтобы быть совершенно достойной тебя, желала бы, чтобы в груди, на которую ты склонишь твою голову, вмещалось целое небо, в котором бы тебе недоставало ничего, а она богата одною любовью, одним тобою. И с этою любовью – сколько веры в тебя, и можно ли любить без веры? Нет, мой друг, нет, мой ангел, твой идеал далеко, ищи его там, ближе к Богу, а здесь, на земле, нет его. Ты можешь быть идеалом многих, а быть твоим… Мне часто бывает грустно, когда я обращаюсь на себя и вижу всю ничтожность свою пред тобою, мой несравненный Александр; грудь моя слишком тесна, чтобы заключить в себе все, чего бы ты

желал; может, и душа моя слишком далека твоей души, чтобы слиться с нею в одно? Нет, мой ангел, ищи несравненного, неподражаемого, а мне ты много найдешь подобных; не склоняй головы твоей на слабую грудь, которая не в силах снести столько прекрасного, столько святого. Грустно стало мне… Прощай.

Н. А. Захарьина – А. И. Герцену (Москва, 29 января 1836 года)

Научи меня, ангел мой, молиться, научи благодарить Того, Кто в чашу моей жизни влил столько блаженства, столько небесного, кто так рано дал мне вполне насладиться счастьем. Когда я хочу принесть Ему благодарение, вся тленность исчезает, я готова пред лицом самого Бога вылить всю душу молитвой. Но этого мало, и жизни моей не станет довольно возблагодарить Его; ты научил познать Его, научи, научи благодарить Его, ангел мой!

Напрасно ты боялся, друг мой, чтоб меня не отняли от тебя. Когда я встретила тебя, душа моя сказала: вот он! И я не видала никого, кроме тебя, и любила одного тебя. Я не знала, что люблю тебя; думала, что это дружба, и предпочитала ее всему на свете, и не желала узнать любви, и никем не желала быть любимой, кроме тебя. Верь, Александр, я бы была довольно счастлива, ежели бы умерла и сестрою твоей, да, довольно, а теперь я слишком счастлива! Тебе этого не довольно, ты слишком велик и пространен сам, чтоб ограничиться таким маленьким счастьем; в обширной груди твоей и за ним будут кипеть волны других желаний, других красот и целей. Бог создал тебя не для одной любви, путь твой широк, но труден, и потому каждое препятствие, остановка и неудача заставят тебя забыть маленькое счастье, которым ты обладаешь, заставят тебя отвернуться от твоей Наташи. А я, мой друг, мне нечего желать, мне нечего искать, мне некуда стремиться; путь мой, желания, цель, счастье, жизнь и весь мир – все в тебе!

Тебе душно на земле, тесно на море, а я, я потонула, исчезла, как пылинка, в душе твоей; и мудрено ль, когда душа твоя обширнее моря и земли? И неужели, друг мой, я могу сказать: «Люблю тебя». Да, я могу, я должна говорить это. И ты, друг мой, говори: «Наташа, ты любишь меня», говори мне это, ангел мой, в этих словах мое счастье, ибо я сама и любовь моя созданы тобою.

Я видела твой портрет. Ты можешь вообразить, что это за минута была для меня, но зачем тут были люди? Они мне не дали насмотреться на тебя, наговориться с тобою. О, в эту минуту я бы расцеловала ту руку, которая изобразила так похоже твое лицо и выражение! А если бы видела его, на коленях… упросила бы списать для меня.

… «Я тебя люблю, насколько душа моя может любить», а насколько же душа твоя может любить? Какой океан блаженства! Знаешь ли, я никогда не верю счастью, – так велико, так дивно

оно. Тот ли это Александр, перед которым я преклонялась душою, тот ли, чьи слова были мне заповедью, тот ли, кого я боготворила?.. И прошедшие надежды и мечты, которыми я жила, но которые мне казались несбыточны, снова восстают толпами в душе, и волнуют ее; но вдруг я обращаюсь к настоящему, – воскресаю всем существом, и облако сомнения исчезает, и ясно вижу ясное небо.

Давно я слышала о Полинах, но, зная тебя, я не писала тебе, зачем же ты пишешь мне? Не прощаю и Emilie, что она писала тебе, но она слишком занята своим несчастьем, потонула в нем и духом, и душою. Я не послала тебе ее письма, в котором она пишет тебе о словах: «Он может быть счастлив в тесности семейного круга, а мне нужен простор». Она вовсе не так поняла их, я объясняла ей, уверяла и уговорила не писать этого, но из твоего письма вижу, что она писала. Истерзанная душа ее во всем находит для себя новые мучения. Легче расстаться душе с телом, нежели душе с душой, а она, кажется, разлучена с ним навеки.

Н. А. Захарьина – А. И. Герцену (Москва, 22 февраля 1836 года, суббота)

Друг мой, ангел мой, одно слово, одно только слово, потому что некогда, а хочу непременно писать тебе сегодня, – я приобщалась. Ты можешь вообразить, как чиста теперь душа моя, как я небесна, как люблю тебя! Никогда не говела я с таким благоговением, не исповедовалась с таким раскаянием, и никогда не чувствовала себя так достойною сообщиться с Христом. Как я чиста теперь, мой ангел! Вот теперь я чувствую, что я достойна тебя, Александр, друг мой! Ты не хочешь, чтоб я хвалила тебя, ну, что ж ты хочешь? Ведь ты знаешь, я люблю тебя, обожаю, боготворю, и эта любовь возвышает меня, я чувствую сама, мне другие говорят это. Я стала добрее, лучше, и это именно ты, ты, ангел, твоя любовь сделала меня такой! Теперь не могу видеть бедного, несчастного; сердце обольется кровью, я заплачу о том, что не имею средств помочь, и тотчас ты предо мною, и я ищу утешения в твоих глазах, и удаляю своего счастья несчастному, и, кажется, ему легче, кажется, участь его уже облегчилась от того, что ты тут. Разве я придаю тебе слишком много?.. Полно, Александр, полно, друг мой, не говори мне этого: неужели в тебе мало, и еще надо дополнять воображением твое достоинство? О, нет, мой Александр, мне порукой в том моя любовь, ибо я никого бы не могла так любить, как люблю тебя. Отнять у меня эту любовь – значит отнять всю чистоту, всю святость, все прекрасное, все возвышенное, и что же после я останусь?.. Прощай, устала ужасно; кругом меня говорят, кричат.

Прощай, обнимаю тебя.

Хотела одно только слово – какое длинное слово! Сейчас была у меня Эмилия, – все так же мила, хороша, прелестна, а Николай ее… Писал ли ты к нему? Ух, страшно!

«Теперь нравственное начало моей жизни будет любовь к тебе». Я все читаю с восторгом в твоих письмах, а тут слезы градом полились от умиления, я невольно упала на колени перед тем, кто соединил жизнь мою, маленькую пылинку, с твоею Жизнью – бурным и обширным морем. Тут более даже, нежели любовь, тут само небо, сам Бог! Из того чувства мы извлекаем все, через него мы можем достигнуть всего, им можем купить не только земное счастье, но и блаженство небесное, вечное. Любя тебя, я рвусь из ничтожества к великому, к изящному; любя тебя, люблю всех ближних, всю вселенную. И ты, Александр мой, и ты, любя твою Наташу, можешь стать против всех искушений,

можешь направить порывы пламенной души твоей к одному высокому и изящному. Можно ли, чтобы ты увлекался в пороки? Нет, между ними и тобою – я! Ты прежде наступишь на меня, отнимешь у меня жизнь, поставишь ногу на грудь мою, чтобы перешагнуть к пороку, и тогда только, когда меня не будет, когда я буду под ногами твоими… нет, нет, этого никогда не будет, ангел мой; рука Бога ведет тебя, и Он не оставит тебя, не покинет! Я молю Его об этом, молю, чтобы в душе твоей не померкло небесное начало ее, чтоб утвердил тебя в добродетели, чтоб сделал нас с тобою совершенно достойными назвать небесного Отца отцом нашим, а мы – дети Его!.. О, друг мой, сколько счастлив может быть человек! Как Он любит нас, как научает быть добродетельными! Вознесем же души наши к Нему, обнимем добродетель и с нею пойдем по той лестнице, которая ведет на небо! Прощай, целую тебя. Нельзя больше писать. Давеча была у меня Саша Б. Вот еще прелестнейшее создание; кажется, ничто в свете никогда не может разорвать нашей дружбы.

Н. А. Захарьина – А. И. Герцену (Загорье, 10 августа 1836 года)

16 дней остается до назначенного тобою дня. Я ужасно недовольна собою. Ежедневно мне пеняют, что я не весела, задумчива, а перемениться нет сил. Тяжко принять веселый вид. Мысль, что, может быть, еще год розно с тобою, гонит и самую улыбку. Вид мой стал суровее, мрачнее, а это означает недостаток твердости, слабость характера. Но что ж мне делать, ангел мой? Я умею владеть собою, умею скрывать и переносить многое, но где ты, там я вся, там нечего уделить мне людям. Но что же, впрочем, я готова для них делать и делаю все, а быть веселой без тебя – не могу. Александр, ангел мой, зачем ты написал в последнем твоем письме: «твой до гроба»? Неужели за гробом вечность без тебя? На что ж говорить о небе, на что искать неба? Мое небо там, где ты. Я не поменяюсь с жителями неба, не отдам земного странствования на райскую жизнь, нет, нет! Александр мой, милый, на что же Бог соединил нас здесь, когда за могилой нам вечная разлука? Разве радости небесные могут заменить мне тебя? Тобою я свята, ты мой ангел, ты мое небо, ты мой рай, моя светлая жизнь; гроб не разлучит нас; мы переживаем друг друга: расставшись с телом, не две души возлетят на небо, а один ангел. Для чего же здесь вместе, когда там розно? Не для того ли Бог слил наши существования в одно, чтобы мы друг другом становились добродетельнее, чище, выше, святее, чтобы друг другом сближались с Ним! Не для того ли, чтобы, будучи в обители скорби и печали, мы находили друг в друге и небо, и рай, чтобы сделали себя здесь быть достойными друг друга там? Я твоя вечно, твоя и здесь, твоя и там! Мне не страшна могила, мне сладко будет лежать и в земле, по которой ты будешь ходить. Мне кажется, расставшись с телом, душа моя не покинет землю, когда еще на ней будешь ты, тогда она будет твоей спутницей, и уж ни язык коварного, ни рука злого не коснется тебя, милый мой, – душа моя охранит тебя, умолит за тебя.

О, мой Александр! Что может сравниться с тобою? Что может заменить тебя? Если б ты и не любил меня, я боготворю тебя; мое блаженство безгранично тем, что ты есть, что я тебя знаю, что я умею любить тебя. Несравненный, неподражаемый! И измерь же ты сам весь рай души моей, когда я могу назвать тебя моим Александром! Будь моим до гроба, а я твоя, твоя навеки! Твоя, твоя! Твоею на земле, твоею и в небесах!

Н. А. Захарьина – А. И. Герцену (Загорье, 26 августа, среда, 1836 года)

Здравствуй, милый, единственный друг! Сию минуту открыла глаза, – и тотчас за перо. Чем же мне начать мой праздник, как не словом к тебе, чем подарить себя боле, как не этим? Итак, уже и 26, опять бумага, опять перо передают тебе мою душу… Когда ж, когда ж?..

Вчера я долго сидела над рекой одна. Благовестили ко всенощной. Как спокойна, как чиста была моя душа в это время! Исчезло все суетное, житейское; я видела одно небо, слышала один призыв святого храма, а душа, душа… она была тогда вся ты, и после восторга, после молитвы я обратилась на себя. Что бы могло сделать меня несчастною? Смерть твоя? – нет, потому что я не переживу тебя. Итак, что же может убить меня при жизни твоей? Если ты перестанешь любить меня, – может, это убьет меня, я тогда умру, но несчастной не назовусь. Дунул ветер, и навеял пылинку на твое лицо, дунул в другой раз, – и ее уже нет; а лицо твое все так же ясно, чисто, все так же благородно, прекрасно и величественно, а пыль исчезла; коснувшись лица твоего, она не падет уж ни на что, она стала освященною. Может быть, Провидение так же и меня навеяло на твою душу, как пылинку; может, Его же рука сотрет меня, и ты все так же чист, высок, свят и божествен, и буду ль сметь я роптать на Него, на тебя? Кто отнимет у меня то, что дано было мне твоею любовью, кто отнимет тогда у меня мою любовь? Нет, клянусь тебе, мой ангел, я и тогда буду счастлива, ежели будешь счастлив ты. Молиться о тебе, служить тебе, любить тебя – разве это не счастье, не блаженство? После этих размышлений я обратилась на людей. Как жалки они! И они не жалеют обо мне! Твоей любви, кажется, не верит никто, кроме меня и Саши Боборыкиной; Эмилию убила измена, а другие… Кто ж может вполне постигнуть тебя, кто может обнять твою необъятную душу? Прощай, еду к обедне молиться не о себе. Целую тебя.

Н. А. Захарьина – А. И. Герцену (Москва, 10 марта 1838 года, четверг, вечер)

Вчера получила письмо от 4 [*марта*], и писаное слово сделалось теплее, звучнее, одушевленнее. Да, после 3-го марта и все переменилось: черное прошедшее залито светом, черное будущего светлеет им, настоящее – это все свет. И я, Александр, сделалась достойнее тебя – с этого дня, да, в этот день твое создание дополнилось, усовершенствовалось.

Ангел мой, мне кажется, мы будем век говорить друг другу о 3-м марте, и век не доскажем. Странно, я много читала о свиданьях и поцелуях, еще больше слыхала о них от приятельниц и ближе приятельниц – и всегда дивилась: что находят в этом приятного, мне казалось глупо, и я никогда не решилась бы ни за что на свете, – но вот и со мной сбылось 3 марта, только оно не помирило меня с их поцелуями, с их восторгами, они остались их, а 3 марта – мое 3 марта!

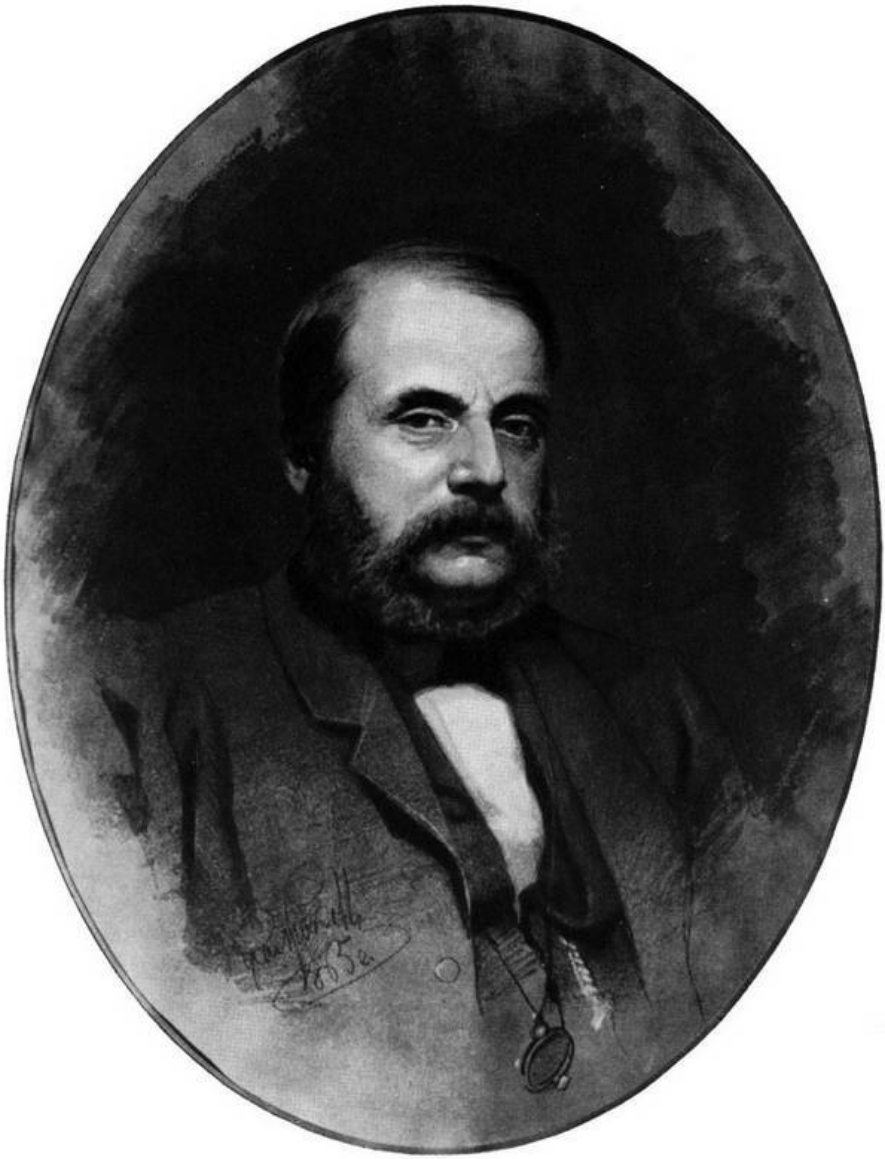
В небе я не была бы святее, как в твоих объятиях, перед Ним я не желала бы явиться чище, как была на груди твоей, и от Него не желала бы более награды, как твой поцелуй. О! мой Александр! мой Александр! Ведь я видела в твоем взоре любовь, любовь твою, я видела во всем, что ты мой, и целая-то жизнь наша будет не что иное, как 3-е марта. О, мой Александр! ни о чем я еще не могу теперь думать, мысль и слово отстали вместе с телом и землей. Я сказала тогда нелепость, ясное доказательство, что нам не нужно тогда было говорить. Я не могу вообразить, что будет за жизнь тогда, как мы дойдем до того, чтоб ее размерить, учредить, сделать порядочною, – а жизнь эта будет, я верую! Оглянусь направо – свет, блаженство, все свято, все благословлено Им, мы – Его ангел; оглянусь налево, – страшно, там проклятье, преступленье, там разлука, страданье.

А в самом деле, друг, ты писал ужасное в прошлом письме: поклялся не подаваться назад, а потом: «разрыв – тут много ужасного, безнравственного, но скорее разрыв, нежели уступка». И тогда, тогда, как с нами будет Бог, как мы будем в раю, как мы составим одного ангела, ты скажешь: «Наташа, я поступил безнравственно». Не ужасно ли? Но теперь я не верю решительно ни во что дурное, а холодность пап(еньки) очень дурное; стало, Он уничтожит ее. Праск. Андр. с величайшим участьем говорит мне: «Ну, что ж, он сделал лучше, и так рискуя». – «Ничего, – сказала я ей, – мы увидались только потом». – «Ах, он

безголовой». – «Да, правда, безголовой, но лучше безголовой, нежели бездушной» – не знаю, поняла ли она, а она ведь очень добра. Ты безголовой, а я – безумная – чудо! Вдруг давеча беру Emilie за руку и называю ее Александром, да, может, и не заметила бы этого, если бы мне не дали заметить. Она мечтает о том, как мы будем скитаться с нею, как меня выгонят. Дивно. Александр: мир откажется от нас за нашу любовь, за наше святое – свобода!.. Я никак не могу разглядеть обстоятельств, а тогда представляется мне не иначе, как 3-м марта, и так ясно, так ясно… О! друг мой! Да, я вижу, тебе необходимо отдохнуть здесь, на груди, отдохнуть долго, долго, потому что ты страдал долго. Мы едва прикоснулись к чаше блаженства нашего, а она без дна, без краев… Ведь я не насмотрелась на тебя, красота моя, да такого красавца нет во вселенной, потому что ни на ком рука Его не видна так ясно. О, Александр, нет, ведь недостаточно, несносно говорить через бумагу, когда уж раз попробовал лепетать живою речью, хоть едва понятною, ребячьею, – но все она лучше, превосходнее мастерского писанья! Нет, еще мы будем говорить, будем, я верую. Мы доскажем друг другу все здесь, и уже тогда пойдем рассказывать Богу.

Дивный мой, прелестный мой, милый… Да! merci за комплимент; вот неожиданно, да тебе это показалось… Нет, я вздор говорю, именно я, должно быть, была хороша тогда, ведь я была тогда – с кем? Все еще дивлюсь, как осталась на земле, как осталась без тебя. Да, что 9 апреля в сравнении с 3 марта… А тогда мы скажем: что 3-е марта в сравнении с теперь. Ни на один

миг не покинула бы тебя, ни на миг не спустила бы с тебя глаз… Или смерть? Да будет Его воля! Праск. Андр. говорит: «Ведь родительским благословением дом строится»; если только, – то пусть наш дом век не состроится, но в благословении для меня более… Он поможет.



И. А. Гончаров (1812–1891)

Как благодарить Вас, изящнейший, нежнейший друг, за торопливую, милую весть о себе?

Иван Александрович Гончаров – писатель, критик, член Петербургской Академии наук, автор известного «Обломова». Гончаров часто воспринимался современниками как его вымышленный литературный герой, такой же меланхоличный, ленивый, много мечтающий, но ничего не делающий. В действительности – это лишь внешний облик, внутренне Иван Александрович был человеком деятельным, мыслящим.

Любовь всей его жизни – Елизавета Васильевна Толстая тоже относилась к Гончарову как к некоему «Обломову». Она принимала его ухаживания, письма, но отношения дальше дружбы никогда не заходили. Впервые Гончаров увидел Толстую еще шестнадцатилетней девушкой в доме Майковых, их общих друзей. Бурная переписка между ними началась гораздо позже знакомства, уже в зрелом возрасте. Но, к сожалению, более практически мыслящая Елизавета Толстая вышла замуж за другого.

Все время его жизни верным другом, умеющим выслушать, понять была Юлия Дмитриевна Ефремова. Между ними регулярно велась переписка, Гончаров доверял ей свои самые сокровенные мысли, сомнения и всегда находил душевный отклик.

И. А. Гончаров – Е. В. Толстой (Петербург, 19 сентября 1855 года)

С благодарностью возвращаю печать m-me Якубинской и Ваш карандаш – тоже. Я им не воспользовался, не делал отметок на Вашей тетрадке, потому, во-первых, что негде, так все исписано, а во-вторых, не имею ни права, ни возможности быть ценсором таких верных, безыскусственных выражений Вашего сердца. Но чтение Ваших confidences[16] мне доставило несколько приятных минут. Все написанное Вами есть верное отражение господствующего в Вас чувства – не больше. Вы, конечно, этого и достигали, принимаясь за перо, в противном случае, то есть если б у Вас была другая претензия, она бы непременно высказалась в тонкостях ума. Вы впали бы в частности, в подробности, старались бы об отделке, и тогда вышло бы литературнее, но не было бы искренности. А тут примета ее заключается, между прочим, в том, что Вы, по примеру всех, так или иначе выражавших свое чувство, считали его исключением. Тоска, мечты, слезы – все это симптомы известной болезни. Зачем бы, кажется, это писать? А нужно, я знаю, – помню, то есть я сам никогда не писал, а помню, что не прочь бы, если б меня заперли в деревне. Вам, как и всем в этом положении, жадно хочется прислушиваться к голосу собственного чувства, так что трудно заглушить в себе эту потребность высказываться. Его не было, говорить с ним нельзя, писать по почте об этом неудобно, особенно в такие места, где письма поступают в карантин, прежде нежели дойдут по адресу – и вот Вы (и другой в таком состоянии) начинаете говорить с неодушевленными предметами, сначала с письменным столом, потом с печкой и т. д. Татьяна говорила и с одушевленными, с няней: хорошо, у кого есть няня, а у кого нет –

можно слова два перемолвить хоть с мухой. Но все это у Вас грациозно, естественно грациозно, как Вы сами и Ваш ум, потом свежо и молодо, так что особенно мучительная сторона страсти, даже и мне напомнило что-то бывалое, уж давно угасшее и забытое во мне. Позволю себе сделать одно капитальное замечание: Вы все обращаетесь к внешней его стороне, едва вскользь упоминая об уме, душе etc., а то все «красивая поза», «опершись на руку» – да тут же непременно и «конь». Я все думал, что у Вас это должно быть полнее. Впрочем, Вы и сами сознаетесь в своем дневнике, что Вы «влюблены», следовательно это еще не решенный вопрос, наступила ли бы за пылом страсти настоящая, глубокая любовь, чувство прочное и более покойное? Во всех Ваших выражениях мелькает только страсть в виде болезни, а не сознательное и неизменное чувство. Вы смело можете показать эту тетрадку Вашему будущему жениху: он найдет, что не все для него погибло, и отроет тут много залогов на излечение. Я нахожу, что это и естественно – страсть и любовь (про которую я говорю) что-то не одинаковы, или, по крайней мере, бывают иногда не одинаковы.

В двух местах только я вижу небольшие натяжки: это в выражениях *тоска-змея*, да *погодушка-верховая:* мне это показалось умышленным украшением, риторикой. Потом я не мог не засмеяться от души, читая, как Вы с *ним* мечтаете женить Ваших будущих детей. Да, да, все это верно, искренно: тут весь очаровательный мир, со *всею милой глупостью* любви, как называет это Аполлон Майков где-то, кажется в *Машеньке*.

Я позволил себе сделать этот общий вывод о Вашей тетрадке, предвидя изустный Ваш вопрос о моем мнении: но изустно не выскажешь в порядке, и я предпочел написать. Но довольно, а то, пожалуй, не кончишь на листе, дай только волю себе. С Вами я особенно разговорчив: чувствую, однако ж, что апатия и тяжесть возвращаются понемногу ко мне, а Вы было своим умом и старой дружбой расшевелили во мне болтливость. – Еще раз благодарю за доверие, но тетрадки не возвращаю, по Вашему желанию, до личного свидания. Надеюсь, что в сказанном мною, несмотря на Вашу обидчивость, Вы не найдете ничего обидного: я счел дружескою обязанностию сказать откровенно, как и что мне кажется. Поздравляю Вас: сегодня спектакль, говорят, великолепный и живо должен напомнить итальянскую оперу. Один отчаянный меломан сказывал мне, что, после Рубини, подобного певца не слыхали. Не знаю, насколько тут правды; этот меломан лжет на каждом шагу. Он знаком с Майковыми и будет в театре, конечно подойдет к ним: избегайте отвечать ему, если он заговорит как-нибудь и с Вами: он очень неприличен, и

порядочные женщины неохотно говорят с ним. Вы сейчас его узнаете: это обезьяна лет семидесяти, в очках. Так как Вы принимаете во мне участие до того, что иногда *намереваетесь* спросить о здоровье, то я *спешу* уведомить, что я очень нездоров: у меня, сверх головной боли, явился кашель, и если это не кончится к вечеру, я лишусь удовольствия видеть Вас и слушать Лючию. Иду на службу.

Что здоровье m-me Богдановой?

Mes compliments a m-me[17] Якубинской.

Tout a Vous[18] *Гончаров*

И. А. Гончаров – Е. В. Толстой (Петербург, 25 октября 1855 года, вторник)

Как благодарить Вас, изящнейший, нежнейший друг, за торопливую, милую весть о себе? Кинуться Вам в ноги и в умилении поцеловать одну из них, а буде можно, то и обе – Вы не велите, находите это унижением, а я вижу тут только понижение, взять одну из Ваших рук и почтительно-страстно приложиться к ней: пальцы закованы в броню колец, которые охлаждают пыл поцелуя. Заплакал бы от радости, да кругом все чиновники, я на службе был (когда пришло письмо), подумают, не рехнулся ли я. Но Вы поймете и без всего этого, как я рад: faut-il encore mettre les points sur les i?[19] Но не думайте, однако ж, что Вы первая вспомнили обо мне, а не я о Вас, что Вы первая написали ко мне, а не я первый к Вам: доказательство должно быть давно в Ваших руках – это мое письмо, другое доказательство на Ваших плечах – это салоп, третье – в Ваших глазах: это книги. Вы не подозревали, конечно, что навстречу Вашему письму неслось уже мое, не чувствовали, что за Вами помчалась моя неотступная мысль, летала, как докучливая муха, около поезда, врывалась нескромно в семейный вагон, тревожно отыскивала Вас среди узлов, мешков, ребят, старых и молодых княгинь, успокоивалась подле Вас час, два, потом, усталая, измученная, летела в столь любимый Вами Петербург и теперь ревниво допытывается, к кому направлены Ваши наиболее горькие сожаления, о ком были Ваши слезы?.. Нет, не догнать, не предупредить и не опередить Вашей дружбе мою, не переспорить меня в этом. Ваша дружба – как легкий, прохладный ветерок в летний день, нежит, щекочет нервы, приятно шевелит их, как струны, и производит музыку во всем организме. Моя – как воздух, проникает всюду, всего касается, заходит в легкие: надо уйти на дно морское, чтоб защититься от него. Хорошо, если б она сделалась такою же необходимостью для Вас, как воздух, чтоб Вы не пожелали, в защиту от него, обратиться в рыбу. «Вы плакали», – пишете Вы, а о чем? Может быть, с досады, что я, по эгоизму, не достал билета на спектакль в прошлый понедельник?.. Des choses les plus surs etc.[20] Нет, прочь этот скептический девиз, по крайней мере теперь, когда мне весело. Знаете, как мне жаль, что я не видал Ваших слез никогда: мне недостает их для полноты очерка всей Вашей физиономии. Если б Вы были здесь, я готов бы был разобидеть Вас, чтоб Вы заплакали, чтоб поглядеть, как из Ваших глаз «сьшлются эти перлы», сказал бы поэт, и то восточный. Особенно хотелось бы

видеть эти слезы, о которых Вы пишете, сосчитать, сколько их пролито вообще, досталось ли на мою долю, и если досталось, то сколько именно. Смекните на досуге и уведомьте об итоге поаккуратнее. Вы отвечаете на это всегда, что «слезы портят лицо, глаза красны» etc. Да боже мой: разве только хороши сухие и ясные глаза? Рисовать – так, но чтоб не забывать никогда таких глаз, как Ваши, нужно изредка видеть их плачущими. Вы знаете – к чему проводник – слезы, но Вы не хлопотали о том, чтоб я не забывал Ваших глаз, оттого, конечно, никогда и не показывали слез.

Не подозревали Вы и того, что Вы едва успели миновать Тверь, а у меня в голове, неправда – в душе, созрел уже план прилагаемой при этом главы романа. Вы еще не огляделись в Москве, а план был уже набросан на бумагу, теперь переписывается и завтра посылается к Вам, – не того романа, который должен быть готов через полтора года во имя Ваше, а того, который начался в душе героя и бог весть когда кончится. Это одна из больных, жалких страниц романа: за что на Вас ляжет печальная обязанность читать ее? Дружба героя тяжела. Я даже в сомнении, посылать ли эту исповедь героя, довольно безобразную, как рана, которую человек решается показать другу только потому, что надеется возбудить ею не отвращение, а участие. У героини много власти – во взгляде, в голосе, в слове: за отсутствием двух первых, благотворно может действовать последнее и уже подействовало. Посылаю еще и потому, что Вас это может позабавить, заставить не раз улыбнуться, а местами Вы не без участия увидите, как мучительно герой допытывается узнать героиню до самой маленькой веснушки на лице, до крошечного пятнышка на совести, чтобы любить ее или без сомнений, или прояснить их, и любить со всеми пятнышками и веснушками. Ужели Вы без любопытства посмотрите на эту борьбу, из которой ему выйти поможет только или забвение им героини, или ее горячее участие. Я тоже принимаю участие в герое: мне жаль его. Того участия, которого ему недоставало в жизни, он уж не найдет, и ему предстоит одинокая и печальная старость. Позади у него мало доброго: он увлекался иногда без пути и толку и часто страдал оттого, что чересчур добросовестно смотрел бог знает на что. Вот источник его сомнений.

Прежде нежели скажете что-нибудь о самом отрывке, не скажете ли, если можно поскорее, о том, что Вы его получили. Сегодня я взял Ваш браслет и булавку: отдам их Николаю Аполлоновичу, который будет отправлять портреты. Я уж писал, что я насильно взял один из них, но его на время отнимают у меня, чтоб сделать новую фотографию. Я возьму себе еще оттиск

с последнего портрета, он хорош, и все это спрячу в глубину бюро.

Записку Вашу я получил не в пятницу, 21-го, как Вы думали, а сегодня, 24-го; пришла она 22-го, но вчера и третьего дня по случаю праздников я не был на службе, и письмо ждало меня. Напрасно говорите, чтоб я не показывал ее, я не покажу ни второй, ни третьей, ни сотой, если она будет. Поступайте так и с моими письмами. За верный адрес благодарю, но верен ли он: прихода не означено. Мой адрес, как я вижу, Вы, по обыкновению своему, потеряли, да я бы и удивился, если б он уцелел, а на память Вы бог знает чего написали, много лишнего. Ни министерства, ни титула моего не нужно. Прилагаю особо на бумажке, как надо писать.

Пришла моя очередь *удивляться и восхищаться* Вашими записками. Грация ли Вашего ума или некоторая, редко проявляющаяся в Вас теплота чувства подкупают меня, только я не начитаюсь письма. Не избалуйтесь моим отзывом и пишите с тою же искренностию и простотой, с какой Вы вообще держите себя в отношении к друзьям Вашим.

Зачем это Вы уехали отсюда? Или бы Вы не приезжали, а если приехали, то не уезжали бы никогда. Это напомнит Вам немного уроки Степана Семеновича, римскую историю и отзыв римлян об Августе, то есть известную дилемму. – Вы обещаете мне письмо – сколько надежд и радостей! Потом, может быть, ответите на отрывок – отрывком же? Да? Буду ждать.

Здесь началась обыкновенная жизнь, какая была до Вас: да что в ней? Никуда и ничего не хочется. Я уж уклонился от нескольких вечеров и обедов. Теперь вечер: я не выходил, пишу и не скучаю. Этого со мной давно, да, кажется, никогда не случалось.

У Майковых все то же. Вчера, в воскресение, особенно живо вспомнили Вас. Были Кошевский и Михайлов.

Пели, между прочим, *Птичку*, даже двух, старую и новую. Михайлов пел известный Вам романс из *Риголетто*. Ко мне время от времени подходили Евгения Петровна, Старушка с вопросом: отчего я мрачен, апатичен, неподвижен, а другие замечали просто, что я «толст». У меня вертелся на языке каламбур, что я *«отолстел»* совсем, но я умолчал. Хотел быть Тургенев, да обманул, были Льховский, Константин Аполлонович, Дудышкин, Солоницын и больше никого. Перед ужином я поссорился с Евгенией Петровною, а за ужином со Старушкой. Евгения Петровна спросила меня, «о чем она думает». «Об ужине, не перегорело ли жаркое», – сказал я, потому что в это время накрывали на стол. «Что я, кухарка, что ли?» – возразила она.

«Гостеприимная хозяйка», – отвечал я и поспешил испросить прощения, с поцелованием руки. А со Старушкой мы тихонько заспорили о том, где Вы сидели за ужином: она говорила, что по левую руку Евгении Петровны, а я утверждал, что по правую. Обратились к Евгении Петровне. «Маменька забыла», – сказала Старушка и вместо того, чтоб спросить, где сидела Елизавета Васильевна, спросила: «Не правда ли, maman, она здесь сидела?» Евгения Петровна согласилась с ней. Такой вопрос показался мне недобросовестным, и я назвал это «кошачьим поступком». А Старушка упрекнула меня, что в моем характере исчезла мягкость и доброта с некоторых пор, что я был очень хорош, а теперь нет. И человек мой то же говорит. Но с утра сегодня я опять подобрее. Вчера был еще Бенедиктов. Аполлон опять читал *Подражание Данту* и опять произвел большой эффект. В самом деле это очень хорошо.

Что за погода: дождь льет, слякоть. Это, право, от того, что Вы уехали. Воспоминание о конфектах преследует меня до сих пор: ложный стыд появиться с коробочкой и навлечь несколько насмешек удержал меня от довольствия угодить Вам. Нет, видно еще я мало люблю Вас. Теперь не могу мимо кондитерской равнодушно пройти. Как-нибудь постараюсь прислать – да как? С Кладбищевым не пошлю – съест… Это все Вы виноваты.

Дайте ручку, обе – и прощайте пока. Ваш верный, верный и преданный друг

Гончаров.

Глупо письмо: где ж взять ума? Ведь Вас уж нет. При Вас у меня были какие-то крылья, которые отпали теперь.

И. А. Гончаров – Ю. Д. Ефремовой (Петербург, 25 октября–6 ноября 1847 года)

Долго намеревался я медлить ответом на Ваше письмо, Юлия Дмитриевна, в отмщение (если это только отмщение) за продолжительное молчание. Но сегодня получил огромную работу по службе и сегодня же прощаюсь с своею ленью и свободой по крайней мере на месяц. Молчать еще месяц – это значило бы слишком далеко простирать свое мщение: да за что же наказывать и себя? Итак, мои последние свободные минуты принадлежат Вам, и я нахожу, что лучше употребить их нельзя. Смотрите, сколько комплиментов в одном только вступлении! о, я знаю, что Вы любите. Присовокупляю еще один: я любовался Вашими письмами и особенно последним, вот этим, на которое отвечаю, но чем любовался? Нежностью и легкостью пера, что ли, или чувствительностию, которая сквозит даже в обыкновенных фразах и всегда обличает женщину, или, наконец, игривою и кокетливою болтовнею: вовсе нет! А любовался я Вашим навыком писать письма, Вашею дипломатическою манерою, потом господствующею в них консеквентностью[21] и степенностью. Право, так: не сочтите этого, ради бога, за насмешку. Так и представляю Вас себе с пером в руке за этими письмами, с задумчивою миною, немигающими глазами, сидящею прямо (отчасти и по причине тесной шнуровки: станете ли Вы делать такое важное дело в паресссезке[22]?), словом, воображаю Вас в каком-то строгом чине, пишущею к бесчисленным, разбросанным по всей России тетушкам, бабушкам, в том числе еще и к Ивану Александровичу. При такой практике по тетушкам и бабушкам как и не приобресть навыка! А Вы еще скромничали – как писать. Впрочем, среди этих стройных и строгих фраз есть одна, которая

много смягчает серьезный тон письма: она уверяет, что Вы «не забываете друзей», а самолюбие внушает мне смелость принять это отчасти и на свой счет. А propos[23] о друзьях и т. п.: почему Вы считаете меня до такой степени бесчувственным, что я позволяю даже тревожиться о братьях, когда в тех местах, где они живут, холера! – Помилуйте, в Симбирске и холера и беспрестанные пожары, а там у меня у самого живут мать, брат и две сестры: как не потревожиться?

Лучшее место, однако ж, Вашего письма есть то, где Вы обещаете приехать в декабре. Но зачем так долго! Нельзя ли в ноябре? По крайней мере, сдержите слово хоть в декабре. Я как отъявленный эгоист не стыжусь признаться, для чего я очень усердно желаю этого. У меня, за отъездом Вашим, один вечер пропадает совсем; как он настанет, то есть такой вечер, когда я, по моему предположению, был бы у Вас на креслах у окна или на маленьком диване, курить папироску, и то спорить с Вами и сердить Вас, то тревожить Вас и даже нагонять на Вас минутную тоску преподаванием своей печальной теории жизни – и вдруг этого ничего нет! Как я ни старался забыть эти вечера и делать в то время что-нибудь другое – невозможно. Я и играл, и читал, и ходил к так называемым *друзьям,* прибегал даже к решительным мерам, как-то – к крепким напиткам, – нет, один вечер остался незаменим в неделю (вот уж, кажется, пятый комплимент в письме, и какой комплимент: почти весь построен на правде, а если и есть ложь, так разве самая малость). Приезжайте же поскорее. Отчего же это Вы не читаете «Современника»? А здесь-то хлопочут посылать его к Вам. Рекомендую Вам там в октябрьской книжке письмо Герцена из Парижа, из Avenue Marigny – потом в «Смеси» помещается всегда resume[24] всего, что творится замечательного на белом свете, и у нас и за границей, следовательно, Вы узнаете, что было здесь без Вас.

На вопрос Ваш, что делается в литературном мире – ответ немудреный, то есть все то же: капля меду и бочка дегтю. Мы ожидаем теперь много хорошего от Белинского: он воротился здоровее и бодрее – только надолго ли, бог весть. Но ведь и прогулки за границу, между прочим в Париж, много помогли ему. Он уж что-то пишет к следующей книжке.

Благодарю Вас за участие к моим трудам. И тут утешительного нечего сказать. Нового ничего нет, да сомневаюсь, и будет ли. Есть известный Вам небольшой рассказ, довольно вздорный: он появится в январской книжке. А теперь он пока у меня, я перечитываю его, кажется в шестой раз, и все никак не могу истребить восклицательных знаков, наставленных переписчиком, черт знает зачем. Мараю, мараю, где-нибудь да

останется. Вот чем пока ограничивается моя литературная деятельность. А то хожу повеся нос, что не мешает мне, однако же, исправно кушать и почивать, ношу с собой везде томящую меня скуку *ко* всякому труду, особенно литературному, чувствую холод, близкий к отвращению, и только вот в эту минуту, то есть за этим письмом, тружусь с особенным удовольствием, не знаю почему (шестой комплимент и уж этот весь чистая правда, иначе письмо не было бы так длинно). Вы говорите, что у нас талантливые люди пишут мало, а бездарные много; и Белинский точь-в-точь этими словами твердит то же самое, а талантливым людям все неймется: не пишут, бестии! Я тоже немало ругаю их. Степан Семенович Дудышкин начинает входить в моду: умные и дельные его статьи в «Отечественных записках» и частию в «Современнике» замечены и расхвалены всеми умными и дельными людьми…

Над Майковыми время оказывает свое благодетельное влияние, то есть острота страдания притупилась, хотя они ни за что не сознаются в этом, особенно Евгения Петровна. Она считает это, кажется, оскорблением памяти умершего, бог знает почему. Она сердилась на меня и на Степана Семеновича и обвиняла нас в забвении Валерияна, потому что мы с ней не говорим о нем, утверждая, что ей от этого легче. Но едва заговоришь, она начинает рыдать. Рана растравляется, а с ней и боль; молчим – смеется: кажется, это лучше, а подите, уверьте ее, что забыть умершего – для живого есть благодеяние, – нет, в ее глазах это преступленье. Всем этим я отнюдь не хочу сказать, чтоб они уж и утешились, нет, до этого еще далеко; но, по крайней мере, плач и рыдания сменились тихою, хотя еще и глубокою горестию. Николай Аполлонович, как более твердый человек, более всех и страдает, хотя и молчит. О молодежи нечего и говорить: весело бежит вперед и не оглядывается.

Заключу это длинное письмо (дочитаете ли до конца? Не замолчите ли еще месяца на два, чтоб не получать таких длинных ответов?) утешительными для Вас известиями: радуйтесь и веселитесь. Брессан… не воротится, но вместо него явился Монжоз (*Monjauz*). Я не видал его, но говорят, что он естественностию и благородною простотою игры затмит Брессана, а другие прибавляют, что даже и наружностью; притом ему 21 год. Злые языки прибавляют еще, что все барыни не преминут, по обычаю, перевлюбиться в него, а злейшие говорят, что и Вы сочтете обязанностию сделать то же; приезжайте же поскорее. Фрецколини принята хорошо, но не с безумием, как у нас водится – и слава богу! что за жалкое и смешное ребячество выражать восторг до унижения! И уж пусть бы было свое, а то ведь и это

переняли у итальянцев; что за краса северному жителю корчить страстную, южную натуру? Еще певица Анжи: публика еще не разберет, что она – контральто или сопрано. Прочие известны: плешивый Сальви, который лучше танцует, нежели поет на сцене. Борси, которой не изменили, несмотря на Фреццолини, остается все той же… какой бы? ну хоть вдохновенной Нормой, пожалуй. Etc., etc. Впрочем, я еще никого не слыхал: это я так только.

Надеюсь получить от Вас хоть одно письмо до Вашего приезда; если нет – буду и я взаимно молчать. Я плачу взаимностью во всем, начиная с любви до переписки: знайте же об этом наперед, если захотите влюбиться в меня или если будете продолжать переписываться. Прощайте – или лучше до следующего письма и до личного свидания. Остаюсь все тот же, неизменно холодный, скучный и дружески почтительный

Гончаров.

И. А. Гончаров – Ю. Д. Ефремовой (Marienbad, 29 июля–9 августа 1857 г.)

Вот уж шестая неделя, несравненный друг мой Юлия Дмитриевна, как я живу в Мариенбаде и собираюсь уехать только в воскресенье дальше, куда-нибудь, мне все равно. Я вспоминаю о Вас беспрестанно, и скажу почему. Но прежде скажу о своем здоровье и о леченье. Каждое утро встаю я в половине шестого и в седьмом часу являюсь к источнику пить от трех до четырех больших кружек воды и хожу два, а иногда два с половиной и даже до трех часов. Обедают в Мариенбаде в час, самые поздние – в два, а я в четыре: не могу следовать общему правилу; кусок в горло нейдет; да притом перед обедом я беру – один день ванны из грязи, другой из минеральной воды, все от печени. Грязь так черна, как деготь, и так густа, что с некоторым усилием надо продавить в ней себе место, чтоб сесть: опускаешься точно в болото Зато тепло, 27 градусов, и притом она немного щиплет кожу. Напротив ванны стоит зеркало: я, вылезая оттуда, всякий раз посмотрю на себя и не налюбуюсь, потом займусь вытаскиванием комков, прутиков и мелких камешков, которые набьются везде, да и сидя в ванне, занимаюсь вытаскиванием из-под себя всякой дряни, то есть камней и щепочек. Рядом тут же стоит теплая ванна с водой: я перехожу в нее и опять делаюсь чист, бел и прекрасен, как Вы меня знаете. Можно утвердительно сказать, что Задиг и Элькан вместе во всю жизнь не переносили столько грязи на себе, сколько у меня бывает в один раз за одним ногтем. Обедаю я четыре блюда: пять ложек супу, баранью или телячью крошечную немецкую котлетку и полцыпленка, и самого тощего, как будто и он пил мариенбадскую воду. Вина я здесь не видал и ни разу не вспомнил о нем, о водке никто в Мариенбаде не слыхивал, фрукты и салат строжайше запрещены, как и всякая сырая зелень. Но кофе и чай позволены, кому что нравится. В 10 часов весь Мариенбад уже спит, и – подивитесь – я тоже, да ведь как: на днях была жесточайшая гроза, перебудившая всех, а я не слыхал. По-видимому, все бы это должно было помочь, и помогает, я это чувствую. Припадков желудочных нет, желтых пятен на лице тоже, живешь на чистом воздухе: у меня перед окнами парк и горы с лесами – все, что Вы видите здесь на виньетке, воздух – лучше даже Безбородкиной дачи – и при всем том леченье мое едва ли удастся. Угадайте, отчего? Оттого, что ежедневно по возвращении с утренней прогулки, то есть с 10 часов до трех, я не встаю со стула, сижу и пишу… почти до

обморока. Встаю из-за работы бледный, едва от усталости шевелю рукой… следовательно, что лечу утром, то разрушаю опять днем, зато вечером бегаю и исправляю утренний грех. А вспоминаю Вас часто, потому что – помните – как Вы на весь мир трещали, что я поеду, напишу роман, ворочусь здоровый, веселый – etc. etc. Как мне было досадно тогда на Вас: какими пустяками казалось Ваше пророчество. «Здоров, напишу роман: какая бестолковая, – думал я, – разве это возможно, разве не прошло это все, и здоровье и романы!» И что же: Вы чуть не правы! Да как Вы смеете быть правой, как Вы позволили себе предсказывать то, в чем я не только сомневался, но и отчаивался? Помню еще, как на прощанье Вы робко и торопливо перекрестили меня, но, видно, от чистого сердца, и, конечно, очень искренно, от всей полноты дружбы пожелали мне покоя, веселья и опять-таки – писанья. Представьте же, мой друг, что все это влоловину, нет, больше нежели вполовину, уже исполнилось, и я ставлю себе в долг прежде всего сказать об этом Вам. Да что Вы молитесь, что ли, за меня, продолжаете желать так же искренно, как и при отъезде? Видно, так. Так слушайте же: я приехал сюда 21 июня нашего стиля, а сегодня 29 июля, у меня закончена первая часть Обломова, написана вся вторая часть и довольно много третьей, так что лес уже редеет, и я вижу вдали… конец. Странно покажется, что в месяц мог быть написан почти весь роман: не только странно, даже невозможно, но надо вспомнить, что он созрел у меня в голове в течение многих лет и что в мае оставалось почти только записать его; во-вторых, он еще не весь […]

Вот о чем я хотел известить Вас первую, зная, что Вам весело будет от этого, вот отчего вспоминаю «о бестолковой предсказательнице» с удовольствием, нужды нет, если б даже из этого ничего не вышло, все-таки месяц я был раздражен, занят и не чувствовал скуки, не замечал времени. Скажите Дудышкину, при поклоне от меня с женой, что, несмотря на то, что к его обыкновенной лени присоединилась еще лень женатого человека, я все-таки надеюсь, что он, если не в нынешнем, так в будущем году пошевелит свое перо, чтоб хоть задать мне журнальную потасовку.

В память удачного предсказания я послал Вам, милая моя Кассандра, две крошечные фарфоровые вазочки с живописью с богемских фабрик – для цветов. Это не подарок, потому что – для подарка – слабо, но в память Вашего дружеского провожанья. Их привезет *Александра Михайловна Яковлева* (вдова купца), премилая, преобразованная, без претензий и без кокетства женщина, за которой я не волочился, а между тем не скучал,

видясь ежедневно у источника и на прогулках. Это чуть ли не в первый раз случилось со мной – не скучать с женщиной без волокитства, и если случилось, так, право, не по моей, а по ее воле: она нисколько не кокетка и нравиться не желает. Она же привезет и отдаст Вам *судок для сливочного масла* из богемского стекла; вручите это от меня Евгении Петровне, как стариннейшему другу и как любительнице масла. Я дал m-me Яковлевой и письмо на имя Александра Павловича: она приедет в Петербург 6-го августа на пароходе, а Вам нельзя ли послать к ней между 10 и 15 августом хоть Константина с прилагаемой запиской на ее имя, по которой она отдаст и вещи. Если же Вы не пошлете сами и она до 15 августа не дождется человека, то обещала прислать сама на железную дорогу или на Безбородкину дачу, где живет ее cousin. Только я забыл вашу дачу и на адресе написал дача *Дамке* или *Тейха*, или, наконец, на железной дороге. Но мне бы хотелось избавить ее от хлопот, и лучше, если Вы пошлете к ней, а если будете в той стороне сами, то заезжайте, она очень проста, даже и мила, от нее узнаете много подробностей о моем житье-бытье. Живет она (ох, далеко) *за Измайловским мостом, по Фонтанке, близ Троицы, в собственном доме*. Посланные безделки не стоят хлопот, и только моя дерзость так велика, что решается задавать Вам хлопоты. За подарки их прошу не считать. Тут же в вазочку вложил я шесть стеклянных игольников: раздайте их соседкам по даче в *виде только поклонов* от меня, потому что они стоят по гривеннику и ими дарить нельзя. Один отдайте Вашей Ляле, чтоб она начала шить, два – Наталье и Юлии Сергеевне, да три остальные – Александре Ивановне Срединой, Анне Ивановне Маркеловой и m-me Яновской, если видитесь с ней. Если же, впрочем, это покажется Вам смешно и нелепо, так не делайте этого ничего, а бросьте их. Козловскому и Средину – мои поклоны: спросите у них, могут ли они попросить в почтамте оставить для меня в почтовой карете место через Варшаву или Тауроген в начале октября, если я в сентябре напишу им, и дайте мне поаккуратнее знать об этом, когда я напишу Вам из Парижа, а то, пожалуй, придется в Варшаве ждать.

Скажите Льховскому, что я вчера получил от него письмо, но отвечать буду из Франкфурта, куда намерен отсюда отправиться, а там уже в гостинице спрошу у лакеев, куда бы лучше поехать: они все знают и так обстоятельно рассказывают, где веселее, куда больше ездят *Herrschaft* (*господа* — нем.) и как удобнее проехать. Мне самому думается отправиться сначала из Франкфурта до Майнца, а там по Рейну до Кобленца и назад во Франкфурт, оттуда по железной дороге через Карлсруэ в Фрейбург, а там уже

с почтой до Рейнского водопада в Шафгаузен, далее в Берн и в Женевское озеро, наконец чрез Базель в Страсбург и Париж. Но боюсь, что лень одолеет. Может быть, сяду где-нибудь и, если станет охоты, поработаю еще. Денег у меня еще осталось тысяч пять франков. Поклонитесь Евгении Петровне и Николаю Аполлоновичу, Аполлону и Старику с женами. Александру Павловичу жму руку, а Лялю целую. В том письме, которое получите от m-me Яковлевой, прописано все то же, только я думал, что оно придет прежде.

Я написал Льховскому в последнем письме, что я сильно занят здесь одной женщиной, Ольгой Сергеевной Ильинской, и живу, дышу только ею: вероятно, он будет сначала секретничать, а Вы сначала спросите его о ней, скажите, что я и Вам писал, и заметьте, пожалуйста, поддался ли он мистификации, и после скажите мне. Эта *Ильинская* не кто другая, как любовь Обломова, то есть писаная женщина.

Теперь Вы мне не пишите, потому что я не знаю, куда поеду и где остановлюсь: посмотрю, что лакеи скажут.

Что, если б доктор Франкль узнал, что я и вечером сегодня пишу это письмо? Он уж и за утро ворчит на меня! У меня щека болит от сырости, вчера простудился да еще шмель укусил мне палец, боюсь, как бы завтра писать не помешал: этого нынче пуще всего боюсь.

Прощайте, милый друг, не показывайте моих безобразных писем никому, или весьма *немногим, например,* Майковым, Льховскому, если они захотят, да только у себя дома.

Ваш друг

И. Гончаров

Граф А. К. Толстой (1817–1875)

Да хранит тебя Бог, да сделает Он нас счастливыми, как мы понимаем, т. е. да сделает Он нас лучшими.

Граф Алексей Константинович Толстой, поэт и драматург, был искренне добрым и отзывчивым человеком. Именно эти его лучшие качества особенно проявились, когда он встретил Софью Андреевну Миллер (в девичестве Бахметову). Толстой искренне ей сострадал, когда узнал историю ее жизни. Будучи еще юной ее склонил к порочной связи князь Григорий Вяземский, от которого вне брака она родила дочь. Затем Софья вынуждена была выйти замуж по расчету, брак быстро распался. И вот однажды на бале-маскараде граф Алексей Толстой встречает «загадочную барышню». После чего напишет известные строки

Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.

Граф А. К. Толстой – С. А. Миллер, впоследствии его жене (10 мая 1852 года)

Я хотел поговорить с тобой о моих мыслях, о прямом влиянии молитвы; я тебе это скажу в нескольких словах – рассуждать не могу – сердце не на месте.

Я думаю, что в нашей жизни соединяются предопределение и свобода воли, но мы не можем установить их соотношения. Отрицать совершенно свободу воли – значит отрицать очевидность, ибо, в конце концов, если твой дом горит, ты не остаешься там, сложа руки, но ты оттуда выходишь и большею частью этим спасаешься.

Итак, если мы допускаем это, мы можем до некоторой степени руководить обстоятельствами, мы должны допустить свое воздействие и на других людей; изо всех же действий самое могучее – действие души, и ни в каком положении душа не приобретает более обширного развития, как в приближении ее к Богу. Просить с верой у Бога, чтобы Он отстранил несчастие от любимого человека – не есть бесплодное дело, как уверяют некоторые философы, признающие в молитве только способ поклониться Богу, сообщаться с Ним и чувствовать Его присутствие.

Прежде всего молитва производит прямое и сильное действие на душу человека, о котором молишься… чем более вы приближаетесь к Богу, тем более вы становитесь в независимость от вашего тела, и потому ваша *душа менее стеснена* пространством и материей, которые отделяют ее от той души, за которую она молится.

Я почти что убежден, что два человека, которые бы молились в одно время с одинаково сильной верой друг за друга, могли бы сообщаться между собой, без всякой помощи материальной и вопреки отдалению.

Это – прямое действие на мысли, на желания, и потому – на решения той сродной души. Это действие я всегда желал произвести на тебя, когда я молился Богу… и мне кажется, что Бог меня услышал… и что ты почувствовала это действие, – и благодарность моя к Богу – бесконечная и вечная. Теперь остается то косвенное действие, которое отстраняет несчастье от любимого человека, если молишься, например, чтобы он совершил путешествие без препятствий, или об исполнении его желаний, если они хорошие, и т. д. Чтобы отрицать это косвенное действие, надо было бы отрицать предопределение, что немыслимо.

Как можем мы знать, до какой степени предопределены заранее события и в жизни любимого человека?

И если они были предоставлены всяким влияниям, какое влияние может быть сильнее, чем влияние души, приближающейся к Богу с горячим желанием, чтобы все обстоятельства содействовали счастью души друга?

Я, может быть, дурно выражаюсь, но твоя душа достаточно понимает мою, чтобы знать, что я хочу сказать. Завтра я опять еду в Царское, и надеюсь, что мне можно будет принести немного добра, высказывая правду о том, что представляется в фальшивом свете.

Да хранит тебя Бог, да сделает Он нас счастливыми, как мы понимаем, т. е. да сделает Он нас лучшими.

Граф А. К. Толстой – С. А. Миллер (Париж, 30 мая 1852 года)

Мы никогда не будем вполне счастливы!.. Но у нас есть удовлетворение в нашем обоюдном уважении, в сознании наших нравственных устоев и добра, которое мы сделаем друг другу. Я люблю это счастье, полное страдания и печали. Отчего мне случалось в детстве плакать без причин, отчего с 13-летнего возраста я прятался, чтобы выплакаться на свободе, – я, который казался для всех невозмутимо веселым?..

Граф А. К. Толстой – С. А. Миллер (Пустынька, 5 октября 1852 года)

Я проснулся от шума ветра; страшная метель продолжается уже два часа – все кругом бело. Если снег останется и больше не выпадет, можно будет завтра найти медведей и лосей… Не думаю, что я бы пошел их искать… разве только с мыслью приобрести для твоих ног медвежью шкуру…

Граф А. К. Толстой – С. А. Миллер (25 октября 1853 года)

У меня были внутренние бури, доводившие меня до желания биться головой об стену. Причиной этого было лишь возмущение против моего положения… Мне кажется, что первобытное состояние нашей души – сильная любовь к добру или к Богу, которую мы теряем с холодным прикосновением к материи, в которой заключается наша душа. Но душа не забыла совершенно свое первое существование, до ее заключения в то застывшее состояние, в котором она теперь находится… Это и есть причина тому чувству необходимости любви, которое мучает иных людей, и тому радостному чувству и счастью, которое они ощущают, когда они, согреваясь и тая, возвращаются к своему первоначальному нормальному существованию; если бы мы не были скованы материей, мы бы сейчас вернулись в наше нормальное состояние, которое есть непрерывное обожание Бога, и единственное, в котором можно быть без страданий; но материя нам мешает и холодит душу настолько, что душа совершенно теряет свое первое свойство расплавленности (fusion) и переходит в полный застой.

Бог дозволяет, время от времени, чтобы в этой жизни немного тепла оживило нашу душу и напомнило бы ей случайно то блаженное состояние, в котором она находилась до своего заключения… и к которому возвращение обещано нам после смерти. Это бывает, когда мы любим женщину, мать или ребенка…

Граф А. К. Толстой – С. А. Миллер (Дрезден, 10 июля 1870 года)

Вот я здесь опять, и мне тяжело на сердце, когда вижу опять эти улицы, эту гостиницу и эту комнату без тебя. Я только что приехал, в 3 1/4 ч. утра, и не могу лечь, не сказав тебе то, что говорю тебе уже 20 лет, – что я не могу жить без тебя, что ты мое единственное сокровище на земле, и я плачу над этим письмом, как плакал 20 лет тому назад. Кровь застывает в сердце при одной мысли, что я могу тебя потерять, и я себе говорю: как ужасно глупо расставаться! Думая о тебе, я в твоем образе не вижу ни одной тени, ни одной, все – лишь свет и счастье…

Я ей сказал (m-me Павловой), что я ищу сюжета для драмы и что у меня была мысль – представить человека, который из-за какой-нибудь причины берет на себя кажущуюся подлость.

Она схватилась за эту мысль, яко ястреб, и вертела ею во все стороны, но мы не нашли ничего подходящего…

Граф А. К. Толстой – С. А. Миллер (Дрезден, 25 июля 1871 года)

…Мне очень грустно и очень скучно, и глуп я был, что думал, что будет здесь приятно.

Если б у меня был Бог знает какой успех литературный, если б мне где-нибудь на площади поставили статую, все это не стоило бы четверти часа – быть с тобой, и держать твою руку, и видеть твое милое, доброе лицо! Что бы со мной было, если б ты умерла? А все-таки пусть лучше я после тебя умру, потому что я не хочу, чтоб тебе было тяжело после меня…

И тяжело слушать музыку без тебя; я будто через нее сближаюсь с тобой!

…А в Карлсбаде будет мне скверно; там, говорят, такое множество людей; и все они захотят, чтоб я делал с ними parties de plaisir[25], а мне бы жить тихонько с какими-нибудь профессорами. Ну их! Я мало бываю дома; а когда приду, то читаю Шопенгауэра и редко с ним не соглашаюсь, т. е. я нахожу в нем изредка противоречия, даже с его точки зрения, и все говорю себе: «Дурак, что я мог с ним познакомиться – и не познакомился!»

Император Александр II (1818–1881)

…я тобою только и дышу, и все мысли мои, где бы я ни был и что бы я ни делал, постоянно с тобою и не покидают тебя ни на минуту.

Император Александр II Николаевич в 1866 г. познакомился с княжной Екатериной Михайловной Долгорукой. В то время ее семья была на грани бедности, он оказал дворянской чете помощь. Его внимание с первых встреч завоевала дочь Долгоруких – Катя. Жена императора – Мария Александровна к тому времени серьезно заболела чахоткой, поэтому, находясь в тяжелом состоянии, равнодушно относилась к прелюбодейной связи мужа.

Чувства Долгорукой и Александра стали настолько сильны, что они уже не видели жизни друг без друга. Цесаревич, будущий император Александр III, жестоко осуждал отца, настраивал против него всех Романовых. В этой ситуации Александр Николаевич вынужден был перевезти свою любовницу за границу. Мария Александровна вскоре умерла, и, выдержав траур, император и Долгорукая обвенчались. В их морганатическом браке родились два сына и две дочери, получившие фамилию Юрьевских.

Император Александр II – Екатерине Долгорукой (Петербург, понедельник, 6 марта 1867, 11:30 вечера)

Весь день был так занят, что только сейчас могу наконец приступить к любимому моему занятию. В мыслях я ни на мгновение не покидал мою обожаемую шалунью и, встав, первым делом поспешил со страстью к любезной карточке, полученной вчера вечером. Не могу наглядеться на нее, и мне бы хотелось броситься на моего Ангела, прижать его крепко к моему сердцу и расцеловать его всего и везде. Видишь, как я тебя люблю, моя дорогая, страстно и упоенно, и мне кажется, что после нашего грустного расставания мое чувство только растет день ото дня. Вот уж точно я тобою только и дышу, и все мысли мои, где бы я ни был и что бы я ни делал, постоянно с тобою и не покидают тебя ни на минуту. Все утро прошло за работой и приемами. Только к 3 часам смог выйти, чтобы сначала сделать свою скучную прогулку, впрочем более приятную благодаря погоде, солнце и до 7 градусов тепла. Но ты не можешь себе представить, насколько все эти лица, которые я вынужден видеть каждодневно, мне прискучили. Страх как надоели! Потом я отправился навестить старшего сына. […] От него мы пошли, с его женой, в Екатерининский инст[итут], что я им давно обещал. […] Я нахожу их еще более показными, чем тех, что в Смольном, – но ты знаешь, душа моя, почему сердце мое больше лежит к Смольному. Во-первых, потому, что, бывало, я там тебя видел, а во-вторых, теперь там твоя милая сестра, которая нас так любит обоих. Ты ведь поймешь, дорогая, как мне не терпится туда заглянуть,

особенно сейчас, когда я знаю, что твоя сестра должна передать мне твое письмо. Для меня настоящая пытка – обязанность откладывать этот счастливый момент исключительно из осторожности, чтобы не возбудить внимания слишком частыми визитами. Так все происходит на этом свете, большую часть времени приходится делать противоположное тому, что на самом деле хочется. А в особенности, к несчастию, мы можем прилагать это к нам. Надеюсь, когда-нибудь Бог нам воздаст за все жертвы, какие мы должны приносить сейчас одну за другой. Девицы в Екат[ерининском] инст[итуте] очень мило пропели несколько вещей, затем мы присутствовали при их обеде, а при отъезде они сбежались к моей невестке и ко мне и каждая хотела поцеловать наши руки, так что просто пришлось бороться. В Смольном, слава Богу, до этого еще никогда не доходило.

К обеду было несколько человек, остаток вечера я провел за работой, на полчаса прервавшись для чая и небольшой прогулки в санях при великолепном лунном свете, с которой я только что вернулся. Буду теперь читать Еванг[елие], 21 Гл[аву] Деян[ий] Апост[олов], помолюсь за тебя и лягу спать, мысленно прижимая тебя, мое все, к своему сердцу. Люблю тебя, душа моя, без памяти и счастлив, что принадлежу тебе навсегда.

Император Александр II – Екатерине Долгорукой
(Во время Русско-турецкой войны, 7 октября 1877 года)

В 10 ч. утра. Здравствуй, дорогой Ангел моей души. Я хорошо спал, несмотря на очень холодную ночь, всего 2 градуса…

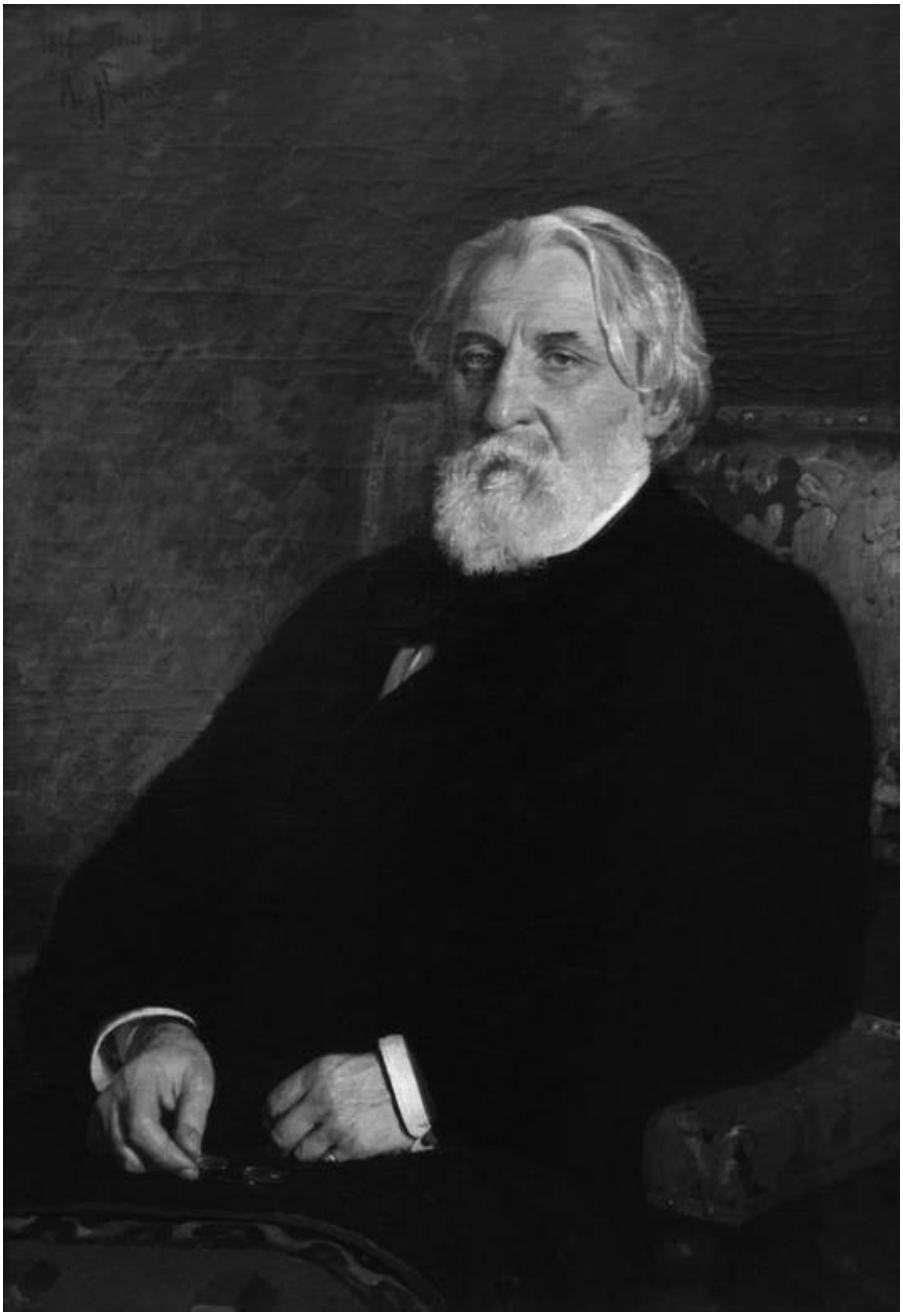
В 3 ½ ч. после полудня. […] Совершил прогулку в карете и пешком… и посетил госпиталь, куда привезли множество солдат с отмороженными ногами с Шипки, но, по счастью, нет необходимости в ампутации. На солнце почти тепло, и ветер стих…

В 7 ¾ ч. вечера. Курьер прибыл после обеда, и твое письмо… для меня как солнце. Да, я чувствую себя любимым, как никогда не осмеливался мечтать, и отвечаю тебе тем же из глубины души, чувствуя себя счастливым и гордым тем, что Ангел, как ты, владеет мною и что я принадлежу тебе навсегда. Надиктованное дорогим пупусей порадовало меня, как обычно, привязанность, которую он нам выказывает с самого рождения, поистине трогательна. Храни Господь для нас его и Олю, чтобы оба продолжали быть нашей радостью. Посланное тобой для полков Брянского и Архангелогородского будет им передано, как только прибудет, и я благодарю тебя за это от всего своего сердца. Меня это ничуть не удивляет, я ведь знаю и умею ценить твое золотое сердце, но ты понимаешь, какое удовольствие это доставляет твоему Мунке, для которого ты идол, сокровище, жизнь.

В 10 ½ ч. вечера. […] Только что пришла хорошая новость, что второй редут, который осаждали румыны, взят. Деталей пока не знаем. Хорошее начало. Только что пришла твоя утренняя телеграмма, и я доволен, что твой желудок лучше… У сына на Шипке все спокойно, но бедные войска ужасно страдают от ночного холода. Я люблю тебя, добрый Ангел, и нежно обнимаю.

Суббота, 8 октября, 10 ч. утра. Доброе утро, дорогой Ангел моей души, я спал хорошо и переполнен любовью и нежностью к тебе, моя обожаемая маленькая женушка. Утро великолепное, ночь была очень холодная. Вчера, перед тем как лечь, я получил скверную новость, что турки взяли назад редут, занятый румынами. Ждем теперь подробностей…

В 7 ½ ч. вечера. […] Ох! как я вспоминаю наши славные послеобеденные часы, когда дети любили спускаться ко мне и рассказывать тебе о чем-нибудь, перед тем как выпить свое молоко. Меня так и тянет к вам. Дай нам Бог вернуться поскорее!



И. С. Тургенев (1818–1883)

…видно, мне суждено счастье, если я заслужил, чтобы отблеск вашей жизни смешивался с моей!

Писатель-романист, поэт, Иван Сергеевич Тургенев почти всю свою сознательную жизнь любил француженку Полину Виардо, оперную певицу и сочинительницу музыки. В 1843 г., услышав ее исполнение в «Севильском цирюльнике», он понял, что безумно и страстно влюбился. Его привязанность к ней была настолько сильной, что в 1845 г. он оставил Россию, чтобы следовать за Полиной и в конце концов стал почти членом семьи Виардо. Четырех детей Полины писатель любил как своих собственных. А певицу обожал до самой смерти. Она, в свою очередь, была критиком его работ, а ее положение в обществе и связи представляли писателя в лучшем свете. Истинный характер их отношений до сих пор является предметом дискуссий.

И. С. Тургенев – Полине Виардо (Париж, июнь 1849 года, воскресенье вечером)

Добрый вечер. Как вы поживаете в Куртавенеле? Держу тысячу против одного, что вы не угадаете того, что… Но хорош же я, держа тысячу против одного – потому что вы уже угадали при виде этого лоскутка нотной бумаги. Да, сударыня, это я сочинил то, что вы видите, – музыку и слова, даю вам слово! Сколько это мне стоило труда, пота лица, умственного терзания, – не поддается описанию. Мотив я нашел довольно скоро – вы понимаете: вдохновение! Но затем подобрать его на фортепиано, а затем записать… Я разорвал четыре или пять черновых: и все-таки даже теперь не уверен в том, что не написал чего-нибудь чудовищно-невозможного. В каком это может быть тоне? Мне пришлось с величайшим трудом собрать все, что всплыло в моей памяти музыкальных крох; у меня голова от этого болит: что за труд! Как бы то ни было, может быть, это заставит вас минуты две посмеяться. Впрочем, я чувствую себя несравненно лучше, нежели я пою, – завтра я в первый раз выйду. Пожалуйста, устройте к этому бас, как для тех нот, которые я писал наудачу. Если бы ваш брат Мануэль увидел меня за работой, – это заставило бы его вспомнить о стихах, которые он сочинял на Куртавенельском мосту, описывая конвульсивные круги ногой и делая грациозные округленные движения руками. Черт возьми! Неужели так трудно сочинять музыку? Мейербер – великий человек!!!

И. С. Тургенев – Полине Виардо (Куртавенель, среда)

Вот, сударыня, вам второй бюллетень. Все вполне здоровы: воздух Бри положительно очень здоров. Теперь половина двенадцатого утра, мы с нетерпением ожидаем почтальона, который, надеюсь, доставит нам хорошие вести. Вчерашний день был менее однообразен, чем позавчера. Мы сделали большую прогулку, а затем вечером, во время нашей игры в вист, произошло великое событие. Вот что случилось: большая крыса забралась в кухню, а Вероника, у которой она накануне съела чулок (какое прожорливое животное! – куда бы ни шло, если б еще это был чулок Мюллера), имела ловкость заткнуть тряпкой и двумя большими камнями дыру, которая служила отступлением крысе. Она прибегает и сообщает нам эту великую весть. Мы все поднимаемся, все вооружаемся палками и входим в кухню. Несчастная крыса укрылась под угольный шкаф; ее оттуда выгоняют, – она выходит, Вероника пускает в нее чем-то, но промахивается; крыса возвращается под шкаф и исчезает. Ищут, ищут во всех углах, – крысы нет. Напрасны все старания; наконец, Вероника догадывается выдвинуть совсем маленький ящичек… в воздух быстро мелькает длинный серый хвост, – хитрая плутовка забилась туда! Она соскакивает с быстротой молнии, – ей хотят нанести удар, – она снова исчезает. На этот раз поиски продолжаются полчаса, – ничего! И заметьте, что в кухне очень мало мебели. Утомившись войной, мы удаляемся, мы снова садимся за вист. Но вот входит Вероника, неся щипцами труп своего врага. Вообразите себе, куда спряталась крыса! В кухне на столе стоял стул, а на этом стуле лежало платье Вероники, – крыса забралась в один из его рукавов. Заметьте, что я трогал это платье четыре или пять раз во время наших поисков. Не восхищаетесь ли вы присутствием духа, быстротой глаза, энергией характера этого маленького животного? Человек, при такой опасности, сто раз потерял бы голову; Вероника хотела уже уйти и отказаться от поисков, когда, к несчастью, один из рукавов ее платья чуть приметно шевельнулся… бедная крыса заслуживала, чтоб спасти свою шкуру…

Это последнее выражение напомнило мне, что в *National* я прочел прискорбное известие: по-видимому, арестовали несколько немецких демократов. Нет ли в числе их Мюллера? Боюсь также за Герцена. Дайте мне о нем известие, прошу вас. Реакция совсем опьянена своею победой и теперь выскажется по

всем своем цинизме.

Погода сегодня очень приятная, но мне хотелось бы чего-нибудь другого, вместо молочного неба и легкого ветерка, который наводит на мысль, не слишком ли он свеж. Вы привезете нам хорошую погоду. Мы не ждем вас раньше субботы.

Мы покорились этому… Маленькая заметка от дирекции в газете не оставляет нам насчет этого никаких иллюзий. Терпение! Но как мы будем счастливы снова увидеть вас!

Оставляю немножко места для Луизы и для других. (*Следуют письма Луизы и Берты.*)

P. S. Мы, наконец, получили письмо (половина четвертого). Слава Богу, все шло хорошо во вторник. Ради Бога, берегите себя. Тысячу дружеских приветствий вам и прочим.

Tausend Grusse[26].

Ihr[27] *Ив. Тургенев*

И. С. Тургенев – Полине Виардо (Куртавенель, 19 июня 1849 года, четверг, вечер.)

Нет более тростника! Ваши канавы вычищены, и человечество свободно вздохнуло. Но это не обошлось без труда. Мы работали, как негры, в продолжение двух дней, и я имею право сказать «мы», так как и я принимал некоторое участие. Если бы вы меня видели, особенно вчера, выпачканного, вымокшего, но сияющего! Тростник был очень длинен, и его очень трудно было вырывать, тем труднее, чем он был хрупче. В конце концов, дело сделано! Уже три дня, что я один в Куртавенеле; и что же! Клянусь вам, что я не скучаю. Утром я много работаю, прошу вас верить этому, и я вам представлю доказательство…

Кстати, между нами будь сказано, ваш новый садовник немного ленив; он едва не дал погибнуть олеандрам, так как не поливал их, и грядки вокруг цветника находились в плохом состоянии; я ему ничего не говорил, но принялся сам поливать цветы и полоть сорную траву. Этот немой, но красноречивый намек был понят, и вот уж несколько дней, как все пришло в порядок. Он слишком болтлив и улыбается больше, чем следует; но жена его хорошая, прилежная бабенка. Не находите ли вы эту последнюю фразу неслыханною дерзостью в устах такого величайшего лентяя, как я?

Вы не забыли маленького белого петуха? Так этот петух – настоящей демон. Он дерется со всеми, со мною в особенности; я ему подставляю перчатку, он бросается, вцепляется в нее и дает нести себя, как бульдог. Но я заметил, что каждый раз, после битвы, он подходит к дверям столовой и кричит, как бешеный, пока ему не дадут есть. То, что я принимаю в нем за храбрость, может быть только наглость шута, который хорошо знает, что с ним шутят, и заставляет платить себе за свой труд! О, иллюзия! вот как тебя теряют… г. Ламартин, воспойте мне это. Эти подробности с птичьего двора и из деревни заставят вас, вероятно, улыбаться, вас, которая готовится петь Пророка в Лондоне… Это должно вам показаться очень идиллическим… А между тем я воображаю себе, что чтение этих подробностей доставит вам некоторое удовольствие.

Заметьте – какой апломб!

Итак, вы решительно поете Пророка, и все это делаете вы, всем управляете… Не утомляйтесь чрезмерно. Заклинаю вас небом, чтобы я знал наперед день первого представления… В этот

вечер в Куртавенеле лягут спать не раньше полуночи. Сознаюсь вам, я ожидаю очень, очень большого успеха. Да хранит вас Бог, да благословит Он вас и сохранит вам прекрасное здоровье. Вот все, что я у Него прошу; остальное – зависит от вас… Так как, впрочем, в Куртавенеле в моем распоряжении находится много свободного времени, то я пользуюсь им, чтобы делать совершенно нелепые глупости. Уверяю вас, что время от времени это для меня необходимо; без этого предохранительного клапана я рискую в один прекрасный день сделаться в самом деле очень глупым.

Например, я сочинил вчера вечером музыку на следующие слова:

Un jour une chaste bergere
Vit dans un fertile verger
Assis sur la verte fougere,
Un jeune et pudique etranger.
Timide, ainsi q'une gazelle
Elle allalt fuir quand, tout a coup,
Aux yeux eflrayes de la belle
S'offre un epouvantable loup:
Al'aspect de sa dent qui grince
La bergere se trouva mal.
A lors pour la sauver, le prince
Se fit manger par l'animal.

Предложите знаменитому автору *Offrande* сочинить на это музыку. Я пришлю свою, и посмотрим, кто одержит верх, вы будете судьей.

Кстати, я у вас прошу извинения, что пишу вам подобные глупости.

И. С. Тургенев – Полине Виардо (20 июня 1849 года, пятница, 10 часов вечера)

Здравствуйте, что вы делаете сейчас? Я сижу перед круглым столом в большой гостиной… Глубочайшее молчание царствует в доме, слышится только шепот лампы.

Я, право, очень хорошо работал сегодня; я был застигнут грозой и дождем во время моей прогулки.

Скажите, Виардо, что в этом году очень много перепелов.

Сегодня я имел разговор с Jean относительно Пророка. Он мне говорил очень основательные вещи, между прочим, что «теория есть лучшая практика». Если б это сказать Мюллеру, то он, наверно, откинул бы голову в сторону и назад, открывая рот и поднимая брови. В день моего отъезда из Парижа, у этого бедняка было только два с половиной франка; к несчастью, я ничего не мог ему дать.

Послушайте, хотя я и не имею den politischen Pathos[28], но меня возмущает одна вещь: это возложенное на генерала Ламорисьера поручение для главной квартиры императора Николая. Это слишком, это слишком, уверяю вас. Бедные венгерцы! Честный человек, в конце концов, не будет знать, где ему жить: молодые наши еще варвары, как мои дорогие соотечественники, или же, если они встают на ноги и хотят идти, их раздавливают, как венгерцев; а старые наши умирают и заражают, так как они уже сгнили и сами заражены. В этом случае можно петь с Рожером: «И Бог не гремит над этими нечестивыми головами?» Но довольно! А потом, кто сказал, что человеку суждено быть свободным? История нам доказывает противное. Гете, конечно, не из желания быть придворным льстецом написал свой знаменитый стих:

Der Mensch ist nicht geboren frei zu sein[29].

Это просто факт, истина, которую он высказывал в качестве точного наблюдателя природы, каким он был.

До завтра.

Это не мешает вам быть чем-то чрезвычайно прекрасным… Видите ли, если бы там и сям на земле не было бы таких созданий, как вы, то на самого себя было бы тошно глядеть… До завтра.

И. С. Тургенев – Полине Виардо (Петербург, 1 (13) ноября 1850 года, вторник)

Willkommen, theuerste, liebste Frau, nach siebenjahriger Freundschaft, willkommen an diesem mir heiligen Tag![30] Дал бы Бог, чтобы мы могли провести вместе следующую годовщину этого дня и чтобы и через семь лет наша дружба оставалась прежней.

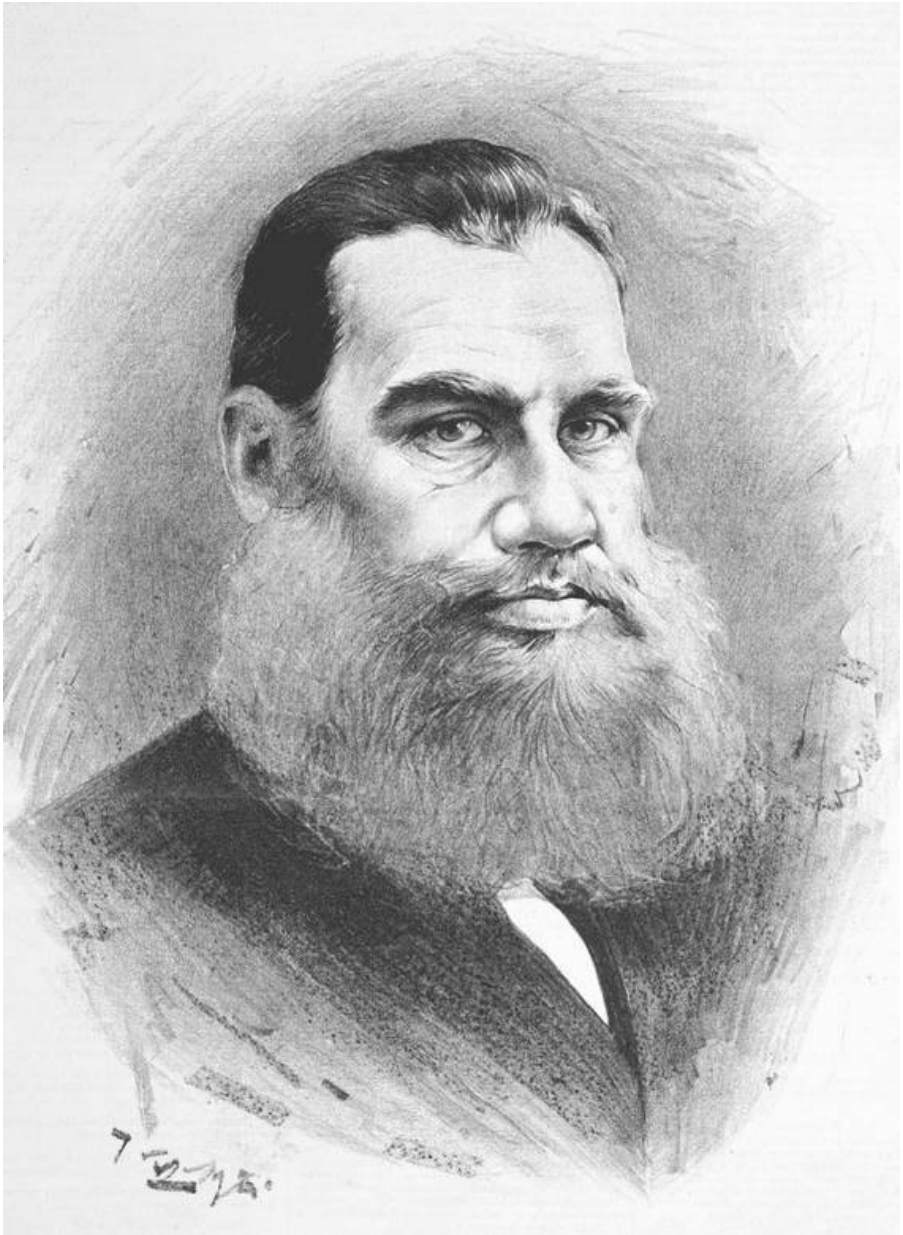
Я ходил сегодня взглянуть на дом, где я впервые семь лет тому назад имел счастье говорить с вами. Дом этот находится на Невском, напротив Александринского театра; ваша квартира была на самом углу, – помните ли вы? Во всей моей жизни нет воспоминаний более дорогих, чем те, которые относятся к вам… Мне приятно ощущать в себе после семи лет все то же глубокое, истинное, неизменное чувство, посвященное вам; сознание это действует на меня благодетельно и проникновенно, как яркий луч солнца; видно, мне суждено счастье, если я заслужил, чтобы отблеск вашей жизни смешивался с моей! Пока живу, буду стараться быть достойным такого счастья; я стал уважать себя с тех пор, как ношу в себе это сокровище. Вы знаете, – то, что я вам говорю, правда, насколько может быть правдиво человеческое слово… Надеюсь, что вам доставит некоторое удовольствие чтение этих строк… а теперь позвольте мне упасть к вашим ногам.

И. С. Тургенев – Полине Виардо (Петербург, 26 октября (7 ноября) 1850 года, четверг)

Дорогая моя, хорошая m-me Виардо, theuerste, liebste, beste Frau[31], как вы поживаете? Дебютировали ли вы уже? Часто ли думаете обо мне? Нет дня, когда дорогое мне воспоминание о вас не приходило бы на ум сотни раз; нет ночи, когда бы я не видел вас во сне. Теперь, в разлуке, я чувствую больше, чем когда-либо, силу уз, скрепляющих меня с вами и с вашей семьей; я счастлив тем, что пользуюсь вашей симпатией, и грустен оттого, что так далек от вас! Прошу небо послать мне терпения и не слишком отдалять того, тысячу раз благословляемого заранее момента, когда я вас снова увижу!

Работа моя для «Современника» окончена и удалась лучше, чем я ожидал. Это, в добавление к «Запискам охотника», еще рассказ, где я в немного прикрашенном виде изобразил состязание двух народных певцов, на котором я присутствовал два месяца назад. Детство всех народов сходно, и мои певцы напомнили мне Гомера. Потом я перестал думать об этом, так как иначе перо выпало бы у меня из рук. Состязание происходило в кабачке, и там было много оригинальных личностей, которые я пытался зарисовать a la Teniers[32]… Черт побери! какие громкие имена я цитирую при каждом удобном случае! Видите ли, нам, маленьким литераторам, ценою в два су, нужны крепкие костыли для того, чтобы двигаться.

Одним словом, мой рассказ понравился – и слава Богу!



Л. Н. Толстой (1828–1910)

Три недели я каждый день говорю: нынче все скажу, и ухожу с той же тоской, раскаянием, страхом и счастьем в душе.

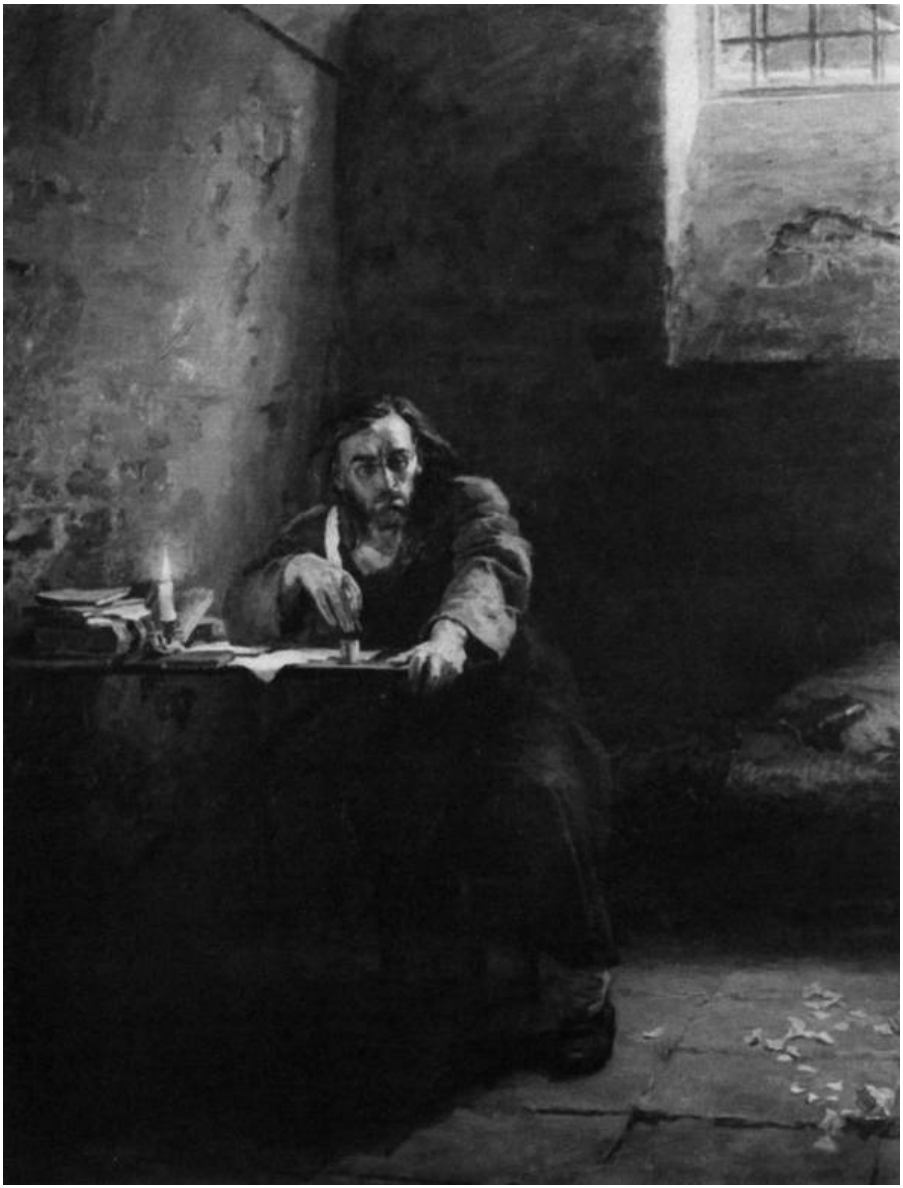
«Ему повезло в любви» – так можно сказать о писателе, просветителе, публицисте, педагоге и в конце жизни основателе нового религиозно-нравственного учения – Льве Николаевиче Толстом.

В начале 1860-х гг. писатель познакомился с Софьей Андреевной Берс (1844–1919), дочерью московского врача из остзейских немцев. Ему шел уже четвертый десяток, Софье Андреевне было всего 17 лет. 23 сентября 1862 г. Лев Николаевич женился на ней, и на их долю выпала полнота семейного счастья. Жена была для Толстого вернейшим и преданнейшим другом, незаменимой помощницей во всех делах, практических и литературных. Для писателя наступает самый светлый период его жизни – упоение личным счастьем. Супружеская чета не только вместе вела хозяйство, воспитывала детей (их было 13!), но и значительное время уделяла совместному литературному, просветительскому творчеству. Как признавался сам Лев Николаевич, во многом благодаря Софье Андреевне он достиг небывалой славы всероссийской, а затем и всемирной.

Л. Н. Толстой – С. А. Берс (16 сентября 1862 года)

Софья Андреевна, мне становится невыносимо. Три недели я каждый день говорю: нынче все скажу, и ухожу с той же тоской, раскаянием, страхом и счастьем в душе. И каждую ночь, как и теперь, я перебираю прошлое, мучаюсь и говорю: зачем я не сказал, и как, и что бы я сказал. Я беру с собою это письмо, чтобы отдать его вам, ежели опять мне нельзя, или недостанет духу сказать вам все. *Ложный взгляд вашего семейства* на меня состоит в том, как мне кажется, что я влюблен в вашу сестру Лизу. Это несправедливо. *Повесть ваша засела у меня в голове*, оттого, что, прочтя ее, я убедился в том, что мне, Дублицкому, не пристало мечтать о счастье, что ваши *отличные* поэтические требования любви… что я не завидую и не буду завидовать тому, кого вы полюбите. Мне казалось, что я могу радоваться на вас, как на детей. В Ивицах я писал: *«Ваше присутствие слишком живо напоминает мне мою старость, и именно вы».* Но и тогда, и теперь я лгал перед собой. Еще тогда я мог бы оборвать все и опять пойти в свой монастырь одинокого труда и увлечения делом. Теперь я ничего не могу, а чувствую, что напутал у вас в семействе; что простые, дорогие отношения с вами, как с другом, честным человеком, потеряны. И я не могу уехать и не смею остаться. Вы честный человек, руку на сердце, не торопясь, ради Бога, не торопясь, скажите, что мне делать? Чему посмеешься, тому поработаешь. Я бы помер со смеху, если бы месяц тому назад мне сказали, что можно мучаться, как я мучаюсь, и счастливо мучаюсь это время. Скажите, как честный человек, хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, смело вы можете сказать: да, а то лучше скажите: нет, ежели в вас

есть тень сомнения в себе. Ради Бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услышать: нет, но я его предвижу и найду в себе силы снести. Но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасно!



Н. Г. Чернышевский (1828–1889)

В эти долгие годы не было, как и не будет никогда, ни одного часа, в который бы не давала мне силу мысль о Тебе.

«Враг Российской империи номер один» – так отзывались в жандармерии о философе-утописте Николае Гавриловиче Чернышевском. Его взгляды на окружающую жизнь были опасны тем, что он сознательно со студенческой скамьи готовил себя к революционной деятельности. Но не только смена власти жила в его сердце, в нем еще пылал огонь любви. Любви неосознанной – но великой! В 1853 г., работая учителем в Саратове, он встречает свою половинку О. С. Васильеву, после свадьбы счастливая пара переезжает в Петербург. Семь лет они не расставались друг с другом, пока Чернышевского за его идеи не арестовали и не сослали в Восточную Сибирь на каторгу. И лишь благодаря огромным усилиям семьи, он в 1889 г. возвращается из ссылки, но уже осенью умирает.

Н. Г. Чернышевский – жене (Александровский завод, 18 апреля 1868 года)

Милый мой Друг, Радость моя, Лялечка.

Каково-то поживаешь Ты, моя красавица? По Твоим письмам я не могу составить определенного понятия об этом. Вижу только, что Ты терпишь много неудобств. Прости меня, моя милая Голубочка, за то, что я, по непрактичности характера, не умел приготовить Тебе обеспеченного состояния. Я слишком беззаботно смотрел на это. Хоть и давно предполагал возможность такой перемены в моей собственной жизни, какая случилась, но не рассчитывал, что подобная перемена так надолго отнимет у меня возможность работать для Тебя. Думал: год, полтора, – и опять журналы будут наполняться вздором моего сочинения, и Ты будешь иметь прежние доходы, или больше прежних. В этой уверенности я не заботился приготовить независимое состояние для Тебя. Прости меня, мой милый Друг.

Если б не эти мысли, что Ты терпишь нужду и что моя беспечность виновата в том, я не имел бы здесь ни одного неприятного ощущения. Я не обманываю Тебя, говоря, что лично мне очень удобно и хорошо здесь. Весь комфорт, какой нужен для меня по моим грубым привычкам, я имею здесь. Располагаю своим временем свободнее, нежели мог в Петербурге: там было много отношений, требовавших церемонности; здесь, с утра до ночи, провожу время, как мне вздумается. Обо мне не думай, моя Радость; лично мне очень хорошо жить. Заботься только о Твоем здоровье и удобстве, мысли о котором – единственные важные для меня.

Я не знаю, собираешься ли Ты и теперь, как думала прежде,

навестить меня в это лето. Ах, моя милая Радость, эта дорога через Забайкалье пугает меня за Твое здоровье. Я умолял бы Тебя не подвергаться такому неудобному странствованию по горам и камням, через речки без мостов, по пустыням, где не найдешь куска хлеба из порядочной пшеницы. Лучше отложи свиданье со мною на год. К следующей весне я буду жить уже ближе к России: зимою или в начале весны можно мне будет переехать на ту сторону Байкала, – и нет сомнения, это будет сделано, потому что все хорошо расположены ко мне. Вероятно, можно будет жить в самом Иркутске, – или даже в Красноярске. Путь из России до этих городов не тяжел. Умоляю Тебя, повремени до этой перемены моего жилища.

Переехав жить на ту сторону Байкала, я буду близко к администраторам, более важным, нежели здешние маленькие люди. Не сомневаюсь, что найду и в важных чиновниках полную готовность делать для меня все возможное. Тогда придет время писать для печатанья и будет можно воспользоваться множеством планов ученых и беллетристических работ, которые накопились у меня в голове за эти годы праздного изучения и обдумыванья. Как только будет разрешено мне печатать, – а в следующем году, наверное, будет, – отечественная литература будет наводнена моими сочинениями. О том нечего и говорить, что они будут покупаться дорого. Тогда, наконец, исполнятся мои слова Тебе, что Ты будешь жить не только по-прежнему, лучше прежнего.

Не знаю, исполнит ли мою просьбу та дама, с которою я посылаю это письмо. Я просил ее, когда она приедет домой и будет иметь досуг, написать Тебе. Она приобрела мое уважение чрезвычайною нежностью к своим детям: никто никогда не видывал ее иначе, как ухаживающею за ними. Овдовев, она уезжает с ними на родину. Быть может, остановится на несколько дней в Петербурге. Если так, я просил бы своих друзей бывать у нее, чтобы из ее рассказов убедиться, как удобна моя жизнь здесь, и хороши мои отношения со всеми здешними.

Она не имеет состояния. Думает, если бы нашлась возможность, трудиться для детей. По своей любви к ним, она заслуживает полной симпатии. Быть может, у кого-нибудь и найдутся в ее краю знакомые, которые могут содействовать ей в этом. Она заслужила глубокое уважение у всех порядочных людей здесь.

Милая моя Радость, верь моим словам: теперь уже довольно близко время, когда я буду иметь возможность заботиться о Твоих удобствах, и Твоя жизнь устроится опять хорошо. Здоровье мое крепко; уважение публики заслужено мною. Здесь, от нечего делать, выучился я писать занимательнее прежнего для массы;

мои сочинения будут иметь денежный успех.

Заботься только о своем здоровье. Оно – единственное, чем я дорожу. Пожалуйста, старайся быть веселою.

Целую детей. Жму руки Вам, мои милые друзья.

Крепко обнимаю Тебя, моя миленькая Голубочка Лялечка.

Твой Н. Ч.

Будь же здоровенькая и веселенькая. Целую Твои глазки, целую Твои ножки, моя милая Лялечка. Крепко обнимаю Тебя, моя Радость.

Н. Г. Чернышевский – жене (29 апреля 1870 года)

Милый мой друг, Радость моя, единственная любовь и мысль моя, Лялечка.

Давно я не писал Тебе так, как жаждало мое сердце. И теперь, моя милая, сдерживаю выражение моего чувства, потому что и это письмо не для чтения Тебе одной, а также и другим, быть может.

Пишу в день свадьбы нашей. Милая радость моя, благодарю Тебя за то, что озарена Тобою жизнь моя.

Пишу наскоро. Потому немного. На обороте пишу Сашеньке.

10 августа кончается мне срок оставаться праздным, бесполезным для Тебя и детей. К осени, думаю, устроюсь где-нибудь в Иркутске или около Иркутска и буду уж иметь возможность работать по-прежнему.

Много я сделал горя Тебе. Прости. Ты великодушная. Крепко, крепко обнимаю Тебя, радость моя, и целую Твои ручки. В эти долгие годы не было, как и не будет никогда, ни одного часа, в который бы не давала мне силу мысль о Тебе. Прости человека, наделавшего много тяжелых страданий Тебе, но преданного Тебе безгранично, мой милый друг.

Я совершенно здоров по обыкновению. Заботься о своем здоровье, – единственном, что дорого для меня на свете.

Скоро все начнет поправляться. С нынешней же осени.

Крепко, крепко обнимаю Тебя, моя несравненная, и целую и целую Твои ненаглядные глаза.

Твой Н. Ч.

Благодарю Тебя, Саша, за Твои письма. Вижу, Ты становишься дельным человеком. Радуюсь на Тебя. Целую Тебя и Мишу.

Н. Г. Чернышевский – жене (Вилюйск, 11 октября 1872 года)

Милый друг мой, Оленька, целую Тебя за Твои письма от 31 мая, 20 июня, 3, 13 и 19 июля. Ты выражаешь в них с достойным Тебя самоотверженным чувством любви намерение приехать сюда. Отвечаю, как можно короче, – в надежде, что краткость моего письма поможет ему поскорее дойти до Тебя, чем я очень дорожу.

Ты знаешь, что Твоя любовь ко мне – все счастье моей жизни. Стало быть, нечего говорить о том, желал ли б я, чтобы жить нам с Тобою вместе, если б это было возможно. Но возможно ли это, – вопрос, который подлежит решению в Петербурге.

От кого зависит решение, я не знаю определительно. Полагаю, что для удовлетворительного решения необходимо внесение дела на Высочайшее усмотрение. Без того нельзя решить вопроса так, чтобы Твое спокойствие подле меня было достаточно обеспечено.

Почему я так думаю, пусть будет все равно. Пусть будет довольно для Тебя знать, что я так думаю.

Умоляю Тебя, пощади себя. Не предпринимай поездки с такими недостаточными гарантиями, как в 1866 году. Заклинаю Тебя, пощади себя.

И если бы оказалось, что можно Тебе ехать жить со мною, то видеть Тебя здесь, – и не здесь только, но хоть бы где-нибудь в Якутской области, – хоть бы в самом Якутске, – было бы смертельным мучением для меня. Не подвергай меня такому страданию.

Но мне одному, – мужчине, – здоровому, – привыкшему жить в тех условиях, в каких живу, – мне здесь недурно. Это я говорю Тебе по совести: моя жизнь здесь достаточно хороша для меня.

Я совершенно здоров. Благодарю Сашу за его письмо. Целую его и Мишу.

Тысячи и тысячи раз обнимаю и целую Тебя, моя милая.

Твой Н. Чернышевский

Г. И. Успенский (1840–1902)

…не спускал глаз с милого лица вашего, которое предо мною. Только это умненькое личико, только эта вера в наше будущее «вместе» опять держит меня теперь.

Знаменитый публицист прошлого века Глеб Иванович Успенский был человеком не только глубоко образованным, но и поразительно чутким, не терпевшим фальши. Его впечатлительность и искренняя любовь к детям, которых у него было пятеро, привлекали к нему женщин. Но он не был ловеласом, его единственной подругой была А. В. Бараева. С ней в 1870 г. они поженились. Из-за журналистской деятельности Успенскому часто приходилось разъезжать по разным странам. Их взаимные признания не потерялись во времени, а сохранились в переписке.

Г. И. Успенский – А. В. Бараевой, впоследствии его жене (Петербург)

Голубчик, 5 часов утра. Я работал отлично целый вечер и не спускал глаз с милого лица вашего, которое предо мною. Только это умненькое личико, только эта вера в наше будущее «вместе» опять держит меня теперь. Иначе бы умер, п.ч. на волосок от страшной тоски.

У нас, к счастью, опять снег и мороз; мне так и кажется, что зима и что придет Бяшечка. Знаете, я до того привык работать, возвратясь от вас, что сегодня, ей-Богу, нанял извозчика до ворот вашего дома и назад. И отлично – весело, хорошо.

Рука устала, пишу скверно, – но все-таки еще две строчки. Я вам писал в Москву, и, по моим расчетам, вы должны были получить его во вторник. Я удивляюсь, отчего вы не получили? «Отеч. зап.» и «Раззорение» послал сегодня в Елец… Прочитал письмо Аркадия (?) к Анне Вас. Он пишет с полстраницы и начинает «Мил. гос.». Но как он любит вас! Мне кажется, что я не могу так пламенно любить; по крайней мере я на письме не могу передать вам, как я люблю вас, птичка моя, ласточка!..

Часы у меня перестали бить; хотя обе гири висят, как следует. […]

Повесть окончу к 25 числу, а может, и раньше, и в апреле или в начале (мая?) уеду в Крапивну. Скучно мне здесь, невыносимо, даже Деммерт как будто надоел.

Босиком не хожу и осенью. Впрочем, вчера утром зашел в один трактир выпить пива… В комнате и на столе у меня все по-старому. Щетки, окурки, «Современник» (старый), лоскутки… На шкапу висит серое пальто, которым я подметаю пол… Все по-

старому – только вас нет и скучно-скучно мне, сиротинушке… Видел я, что Анна посылает вам из химической лаборатории какие-то штуки, надо быть, для туалета. Милая, зачем такая роскошь для народной школы?!

Голубчик мой! Красавица! Ангел мой! Ваши часики бьют сию минуту. Господи! Зачем вас нет… и зачем эти духи пачули![33]

Г. И. Успенский – А. В. Бараевой, впоследствии его жене (Липецк)

…И во всяком случае мы будем жить. Ты заботишься обо мне? Ты больна, худенькая, мученица, девочка, беспокоишься за меня… Думал ли я когда-нибудь! Я думал, что кроме ругательств за неотдачу 3 руб. как. – ниб. Сорокину – ничего не будет в моей жизни. Ты, милый, хороший друг мой! Люблю тебя всей душой и не уйду от тебя никуда и никогда. Ангел мой и друг дорогой. Я об том только и просил тебя, чтобы ты не думала, что будешь (нуждаться?) в Петербурге. Чтобы ты раз и навсегда решилась. Как не велико сквалыжничество писателей-редакторов – они все-таки сами придут ко мне и во всяком случае не дадут умереть с голоду… Нервы твои расшатаны хуже моего. И я смею еще более мучить тебя! Твои бледные губы, бледное личико твое, славная моя, добрая, бесценная моя умница. Господи! Если б мне поздороветь нервами и телом – как бы я берег каждую минутку твою! Я готов заплакать теперь от этого – верь мне, – но у меня слезы во всем лице, глаза режет, а не плачу. Прости меня, крошка, голубчик, в последний раз!

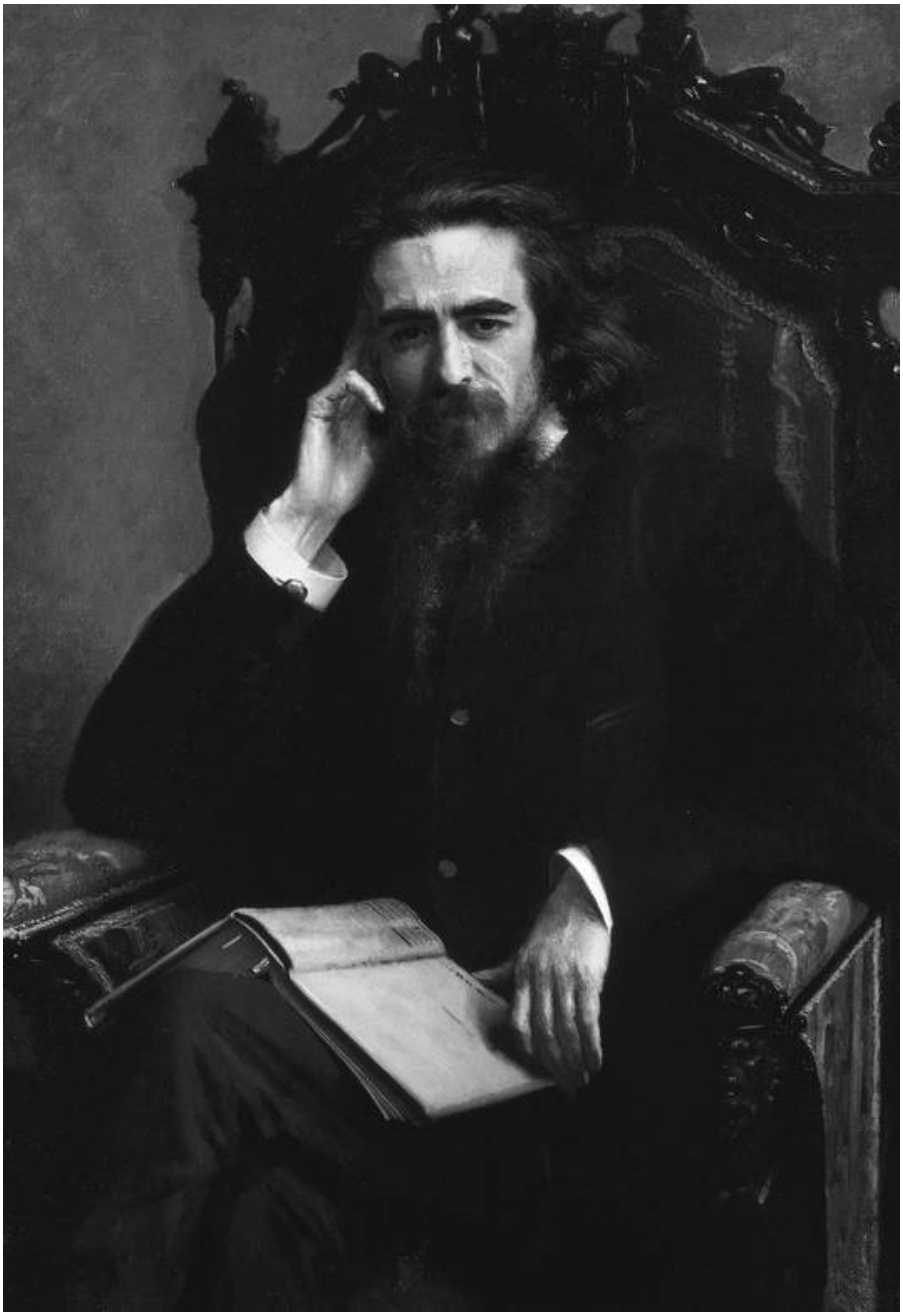
Твой всегда Глеб

Г. И. Успенский – А. В. Бараевой, впоследствии его жене (Петербург, 12 декабря 1874 года)

Дорогой, дорогой друг мой Бяшечка. Я приеду, приеду к тебе, милая моя, как только достану денег. Я хочу к тебе давно и каждый день собираюсь ехать, но ты себе представить не можешь, сколько у меня неприятностей и зацепок. Писать я тебе не пишу, потому что каждый день думаю уехать завтра – и нельзя. Теперь я уеду скоро, непременно через несколько дней, – если можешь, погоди спокойно, – а то я мучаюсь, читая 2 последние письма твои. Милый друг, как тебе худо и как я глуп… что пришлось устроить житье врозь… Могу ли я взяться за перо и о чем-нибудь тебе писать, когда я хочу тебя видеть? А Саша, – идет ли он с ума у меня? Милый друг, если можно, погоди несколько дней – теперь скоро я приеду и останусь до апреля. Неужели ты думаешь, что сидеть одному, когда Саше год, – хорошо? Могу ли я писать в такую минуту что-нибудь толково и подробно? Ты поймешь это и простишь меня.

… Я ужасно рад, что ты познакомилась с Тургеневым – это отлично. Ты узнаешь, что значит и что такое настоящий писатель, а не та с…, которая пишет теперь вместе со мной… Впрочем, Забелло вылепил мой бюст, который будет на выставке в Акад. Худ. Я к нему ездил от тоски 5 раз по 2 часа. Это просто от тоски, у меня перо валилось из рук все время, – а что я буду

рассказывать тебе о том, что пишу, когда я пишу чушь. Я на 10 лет вперед знал каждый свой теперешний день, и знаю, что будет. Что же мне писать тебе и говорить тебе об таком вздоре. Уверяю тебя – все это вздор – и бюсты, и похвала, и книги, и писания мои – от этого я и не говорил тебе об этом ничего никогда. Итак, ради Бога, как это ни странно кажется тебе – все, что я делаю, – если даже и злюсь, – все это исходит из любви к тебе, настоящей любви, пойми ты это и верь… без всяких дурных мыслей о себе (так как ты о себе плохо думаешь)…



В. С. Соловьев (1853–1900)

Радость моя, дорогая моя, в эти минуты душевной усталости, слабости и отчаяния только твоя любовь может поддерживать, ободрять меня…

Русский философ и богослов Владимир Сергеевич Соловьев слыл человеком экспансивным и экзальтированным, он так и не завел семью, хотя влюблялся, по своим собственным словам, двадцать семь раз. Его возлюбленная Софья Петровна Хитрова была замужней дамой и отвергла все предложения Соловьева. Были в его жизни и другие женщины. Одним он писал о своих философских воззрениях, других защищал от нападок своих сестер.

Живя в основном у друзей и за границей, он пишет много писем и произведений, среди которых его работа «Смысл любви». Говоря о божественной любви в своих рукописях, он старался следовать евангельским заповедям и в жизни. Поражает его полная нестяжательность, деньги у него дольше одного дня не держались – все раздавал окружающим. Недаром он писал: «В моем кармане хоть кататься шару».

В. С. Соловьев – Е. В. Романовой, впоследствии Селевиной (Москва, 1873 год)

Пожалуй меня, дорогая моя, жизнь моя, Катя; еще четыре месяца должен я дожидаться свидания с тобою.

Совсем собрался ехать в Петербург; спрашивают, зачем ты *теперь* туда едешь? Для таких-то и таких-то дел. Но в Петербурге *летом* никаких дел сделать нельзя, никого из нужных людей не найдешь: все на лето разъезжаются. Но мне необходимо заниматься в публичной библиотеке. Зимой там заниматься гораздо удобнее, а теперь и в библиотеке никого не добьешься. Что же? мне оставалось или признаться, что я еду в Петербург единственно для того, чтобы видеть тебя, что мне там кроме моей Кати никого и ничего не нужно, – сказать эту правду прямо было бы глупостью непоправимой; – или же приходилось согласиться с основательными доводами и принять предложение папа́ ехать в Петербург с ним вместе 1-го декабря, в воскресенье, в 11.20 часов вечера. Я согласился и, кажется, поступил благоразумно. Но только теперь, когда дело уже кончено, чувствую я, до чего невыносимо-тяжело мне это благоразумие, никогда не испытывал такой смертельной тоски. Знаю, что и тебе не весело одной в скверном пустом городе. Давно бы приехал, несмотря ни на что, если бы можно было это сделать, не компрометируя *тебя же*. Да, кажется, не много роз придется нам сорвать на нашей дороге. Это, впрочем, и хорошо: быть счастливым вообще как-то совестно, а в наш печальный век и подавно. Тяжелое утешение! Есть, правда, внутренний мир мысли, недоступный ни для каких житейских случайностей, ни для каких душевных невзгод, – мир мысли не отвлеченной, а живой, которая должна осуществиться в

действительности. Я не только надеюсь, но так же уверен, как в своем существовании, что истина, мною сознанная, рано или поздно будет сознана и другими, сознана всеми, и тогда своею внутреннею силою преобразит она весь этот мир лжи, навсегда с корнем уничтожит всю неправду и зло жизни личной и общественной, глубокое невежество народных масс, мерзость нравственного запустения образованных классов, кулачное право между государствами – ту бездну тьмы, грязи и крови, в которой до сих пор бьется человечество; все это исчезнет, как ночной призрак перед восходящим в сознании светом вечной Христовой истины, доселе непонятой и отверженной человечеством, – и во всей своей славе явится царство Божие – царство внутренних духовных отношений, чистой любви и радости – новое небо и новая земля, в которых правда живет, но невозможно ничтожному человеку постоянно жить в этом мысленном, еще не осуществленном для нас мире. Сердце берет свои права, и опять тяжелая тоска, тупое страдание, и еще невыносимее становятся мелкие препятствия и столкновения, все эти пощечины обыденной жизни.

Радость моя, дорогая моя, в эти минуты душевной усталости, слабости и отчаяния только твоя любовь может поддерживать, ободрять меня: напоминай мне о ней чаще, умоляю тебя, я еще не верю вполне, прости мне.

Твой навсегда

Вл. Соловьев

В. С. Соловьев – Е. В. Романовой, впоследствии Селевиной (Москва, 11 июля 1873 года)

Печально, моя дорогая Катя, что даже при одинаковой взаимной любви мы не совсем понимаем друг друга. В этом, впрочем, виноват больше я сам: как бы то ни было, постараюсь говорить яснее. Я думаю, ты не можешь сомневаться в моей любви: я даже не умел хорошо скрывать ее до сих пор; теперь же ты даешь мне возможность говорить открыто: я люблю тебя, как только могу любить человеческое существо, а может быть, и сильнее, сильнее, чем должен. Для большинства людей этим кончается все дело; любовь и то, что за нею должно следовать: семейное счастье – составляют главный интерес их жизни. Но я имею совершенно другую задачу, которая с каждым днем становится для меня все яснее, определеннее и строже. Ее посильному исполнению посвящу я свою жизнь. Поэтому личные и семейные отношения всегда будут занимать *второстепенное* место в моем существовании. Это-то только я и хотел сказать, когда написал, что не могу отдать тебе себя *всего*. Но это, как я заключаю из твоего последнего письма, не может изменить твоих чувств ко мне. С моей же стороны, хотя та задача, о которой я говорю, такого рода, что не может быть ни с кем разделена, но, конечно, участие любящей женщины должно поддерживать и укреплять силы в тех тяжелых трудах и жизненной борьбе, с которыми необходимо связано разрешение всякой серьезной задачи. Это помощь незаменимая и, конечно, только от тебя одной могу я ее принять. Но ты знаешь, моя дорогая, что не от нас и не от нашей любви зависят наши отношения. Ты знаешь, какие препятствия не допускают нашего соединения (хотя мне несколько затруднительно писать об этом так прямо, но я должен прибавить, что разумею единственно только то соединение, которое освящается законом и Церковью: ни о каких других отношениях между нами не может быть и речи). Устранить эти препятствия очень трудно, но возможно. Во всяком случае, нужно употребить все средства. Пока я предлагаю следующее: мы подождем три года, в течение которых ты будешь заниматься своим внутренним воспитанием, а я буду работать над заложением первоначального основания для будущего осуществления моей главной задачи, а также постараюсь достигнуть определенного общественного положения, которое бы мог тебе предложить. Если ты согласна, то об этом еще поговорим

при свидании.

Много бы хотел сказать тебе, но слова немы и пошлы.

Прощай, моя дорогая, твой всегда

Вл. Соловьев.

В. С. Соловьев – Е. В. Романовой, впоследствии Селевиной (Москва, 2 августа 1873 года)

Только что отправил жалобу на твое молчание, дорогой мой друг Катя, как получил твое письмо, обрадовавшее меня бесконечно. (Ты, однако, не думай, чтоб я выказывал свою радость: при получении твоих писем я изображаю собою олицетворенное равнодушие. Вообще я становлюсь гораздо сдержаннее, даже начинаю лукавствовать, уверяю тебя: хочу быть мудр, аки змий, и незлобив, аки голубь.) Что касается наших отношений, то хочешь ли ты или не хочешь, я дал и еще даю тебе то слово, о котором говоришь. Способен ли я обмануть, это окажется в будущем, на деле, говорить же об этом нечего.

Постараюсь лучше ответить тебе, насколько это возможно в одном письме, на вопрос твой о моей цели и моих занятиях. С тех пор, как я стал что-нибудь смыслить, я сознал, что существующей порядок вещей (преимущественно же порядок общественный и гражданский, отношения людей между собою, определяющие всю человеческую жизнь), что этот существующий порядок далеко не таков, каким *должен* быть, что он основан не на разуме и праве, а, напротив, по большей части на бессмысленной случайности, слепой силе, эгоизме и насильственном подчинении. Люди практические, хотя и видят неудовлетворительность этого порядка (не видеть ее нельзя), но находят возможным и удобным применяться к нему, найти в нем свое теплое местечко, и жить, как живется. Другие люди, не будучи в состоянии примириться с мировым злом, но считая его однако необходимым и вечным, должны удовольствоваться бессильным презрением к существующей действительности или же проклинать ее а-ля лорд Байрон. Это очень благородные люди, но от их благородства никому ни тепло, ни холодно. Я не принадлежу ни к тому, ни к другому разряду. Сознательное убеждение в том, что настоящее состояние человечества *не таково, каким быть должно, значит для меня, что оно должно быть изменено*, преобразовано. Я не признаю существующего зла вечным, я не верю в черта. Сознавая необходимость преобразования, я тем самым обязываюсь посвятить всю свою жизнь и все свои силы на то, чтобы это преобразование было действительно совершено. Но самый важный вопрос: *где средства*? Есть, правда, люди, которым вопрос этот кажется очень простым и задача легкою. Видя (впрочем, весьма поверхностно и узко) неудовлетворительность

существующего, они думают сделать все дело, выбивая клин клином, т. е. уничтожая насилие насилием же, неправду – неправдою, кровь смывая кровью; они хотят возродить человечество убийствами и поджогами. Это, может быть, очень хорошие люди, но весьма плохие музыканты. Бог простит им, не ведают, что творят. Я понимаю дело иначе. Я знаю, что всякое преобразование должно делаться *изнутри* – из ума и сердца человеческого. Люди управляются своими *убеждениями*, следовательно, нужно действовать на убеждения, убедить людей в истине. Сама истина, т. е. христианство (разумеется, не то мнимое христианство, которое мы все знаем по разным катехизисам) – истина сама по себе ясна в моем сознании, но вопрос в том, как ввести ее во всеобщее сознание, для которого она в настоящее время есть нечто совершенно чуждое и непонятное. Спрашивается прежде всего: от чего происходит это отчуждение современного ума от христианства? Обвинять во всем человеческое заблуждение или невежество – было бы очень легко, но и столь же легкомысленно. Причина глубже. Дело в том, что христианство, хотя безусловно – истинное само по себе, имело до сих пор вследствие исторических условий лишь весьма одностороннее и недостаточное выражение. За исключением только избранных умов, для большинства христианство было лишь делом простой полусознательной веры и неопределенного чувства, но ничего не говорило *разуму*, не входило в разум. Вследствие этого оно было заключено в несоответствующую ему форму и загромождено всяким бессмысленным хламом. И разум человеческий, когда вырос и вырвался на волю из средневековых монастырей, с полным правом восстал против *такого* христианства и отверг его. Но теперь, когда разрушено христианство в ложной форме, пришло время восстановить истинное. Предстоит задача: ввести вечное содержание христианства в новую, соответствующую ему, т. е. разумную, безусловно, форму. Для этого нужно воспользоваться всем, что выработано за последние века умом человеческим: нужно усвоить себе всеобщие результаты научного развития, нужно изучить всю философию. Это я делаю и еще буду делать. Теперь мне ясно, как дважды два четыре, что все великое развитие западной философии и науки, по-видимому равнодушное и часто враждебное к христианству, в действительности только вырабатывало для христианства новую, достойную его форму. И когда христианство действительно будет выражено в этой новой форме, явится в своем истинном виде, тогда само собой исчезнет то, что препятствует ему до сих пор войти во всеобщее сознание, именно его мнимое противоречие с разумом. Когда оно явится,

как свет и разум, то необходимо сделать всеобщим убеждением, по крайней мере убеждением всех тех, у кого есть что-нибудь в голове и в сердце. Когда же христианство станет действительным убеждением, т. е. таким, по которому люди будут *жить*, осуществлять его в действительности, тогда, очевидно, все *изменится*. Представь себе, что некоторая, хотя бы небольшая часть человечества вполне серьезно, с сознательным и сильным убеждением будет исполнять в действительности учение безусловной любви и самопожертвования, – долго ли устоит неправда и зло в мире?! – Но до этого практического осуществления христианства в жизни пока еще далеко. Теперь нужно еще сильно поработать над теоретической стороной, над богословским вероучением. Это мое настоящее дело. Ты, вероятно, знаешь, что я этот год буду жить при духовной академии для занятии богословием. Вообразили, что я хочу сделаться монахом и даже думаю об архиерействе. Нехай – я не разуверяю. Но ты можешь видеть, что это вовсе не подходит к моим целям. Монашество некогда имело свое высокое назначение, но теперь пришло время не бегать от мира, а идти в мир, чтобы преобразовать его.

Ты понимаешь, мой друг, что с такими убеждениями и намерениями я должен казаться совсем сумасшедшим, и мне поневоле приходится быть сдержанным. Но меня это не смущает: «безумное Божие умнее мудрости человеческой».

Прощай, моя дорогая. С надеждой на свидание всегда твой
Вл. Соловьев.

Позабыл о портрете. Если сохранился негатив фотографии, то пришлю тот, про который говоришь. А то сниму другой.

А. И. Эртель (1855–1908)

У меня так и сидит теперь в голове скромный хуторок, да тишина, да природа вокруг – правдивая и безобманная, да любимая, хорошая, дорогая женка…

Эртель Александр Иванович, писатель, известный своими «Записками степняка», должен был в детстве еще пойти по стопам своего отца-мещанина, стать управляющим в господских имениях. Но неистребимая тяга к знаниям привела к знакомствам, перевернувшим всю его жизнь. Так он встречает чудака-купца, одержимого страстью ко всему новому и к чтению, знакомится с его дочерью, с которой вскоре завязывается «книжный роман», кончившийся свадьбой. Вместе с ней он переезжает в Петербург, где начинает свою писательскую деятельность. В нем же писатель встречает свою будущую вторую супругу М. В. Огаркову, на которой женится в 1885 г. Увлечение Эртеля второй женой совпало с его переломом в мировоззрении, что отражается во многих письмах к ней.

А. И. Эртель – М. В. Огарковой, впоследствии его жене (Самара, 22 августа 1883 года)

…Не знаю, почему – один ли я остался, наедине с самим собою, перечитал ли я внимательно и вдумчиво «Исповедь» Толстого – повторяю, не знаю, отчего, но с самого Саратова я почувствовал, что я во власти новых каких-то мыслей, которые и прежде бывали у меня на дне души, которые и прежде вставали во мне, но прежде нерешительно, робко, смутно, тотчас же отступая и прячась. И вот теперь они пришли и взяли меня в свою власть… Мне стало ясно, что я всею деятельностью не то воду толку, не то просто мазурничаю. Я говорю – литературной деятельностью. И вот отчего мне это кажется. Когда-то, во время оно, во время моих первых писаний, так мне казалось ясно и просто все на свете, и так положительно знал я, где правда и где ее нет, что мне ужасно было легко писать мои очерки и ужасно было весело сознавать себя чем-то. Но теперь я вижу, что наивны эта бывшая моя ясность и бывшая веселость. Там, где я видел безоблачные горизонты, там теперь я вижу либо узкость, либо недомыслие… И вот с такими новыми мыслями, или, лучше сказать, с зачатками еще этих мыслей, вечером я пошел в Барыкинский вокзал. Я тебе, кажется, писал, что это за вокзал. Это высокое место, с которого Волга видна верст на 20 и где по вечерам бывает музыка. Всегда оттуда эта Волга производит на меня грустное впечатление. Но теперь я не скажу тебе, что она сделала со мной, эта Волга. Я тебе не писал в точности своих впечатлений; мне самому мысли мои были еще не ясны и казались простой хандрой. Но видишь ли, в чем дело: она, т. е. Волга, и музыка, и все в тот вечер – душу они мне перевернули.

Всю мизерность свою, мелочность свою, ничтожность я понял. Как-то вдруг, сюрпризом. И это вечное притворство, что де я знаю, что я де источник истинной, «настоящей» правды знаю, и эту гордость, вытекающую от такого знания, и, кроме того, гордость свою учительскую – ту, которая проистекала от того, что я учу, пишу очерки, повести, фельетоны, – все я тут понял. И стал я тут совсем неуверенным. Да в чем же правда? – спросил я. В либерализме? Социализме? В политической экономии? И я не нашел ответа в своей душе. Я только нашел такой ответ, который, пожалуй, не вязался с вопросом: жил я, думал, делал ложно, и что ничего, ничего я не знаю и ничему, ничему не могу учить. И надо тебе сказать правду, Маруся, я жестоко плакал, когда возвратился домой. Плакал злыми, бессильными слезами. Вот такой я приехал сюда… Ждал жадно от тебя письма, не получил. И когда первые дни не получил от тебя письма, то вдруг перестал ждать и жадно стал читать «Войну и мир», «Анну Каренину», «Исповедь»… И когда стал читать, снова и с новой силой увидал, что это не то, что я делал, и что тяжкая вина лежит на мне в той моей легкомысленности, с которой я писал и говорил, будто знаю, где правда, а на самом-то деле *не искал* этой правды. Вот видишь ли: я и читал, и в жизнь вглядывался, не правды ища, а подтягивая и книги, и жизнь все под ту готовенькую доктрину, которая как-то незаметно сложилась во мне с юношеских лет.

И мне стало ясно, что не могу я писать и не могу учить. Я тебе не могу передать во всей силе того отвращения, которое получил я к своим писаниям и к своей прежде законченной доктрине. Я только почувствовал, что ничего я не знаю и что недостает у меня бессовестности с этаким-то багажом писать мои очерки, фельетоны, повести…

Что мне делать с собой? Что? Вот этот один неотвязный вопрос мучает меня. Куда я гожусь – испорченный, изломанный этой всей жизнью своей, в течение которой я только и делал, что был самодоволен и воображал, что я делаю дело. И где это «дело»?

Вот в этих мыслях вся моя жизнь в Хилкове проходит. Наружно – я смеюсь, говорю о самых обыденных вещах, езжу с Матв. Ник. в поле, но когда расходимся спать часов с 9, с 10, – тут ложатся рано, – я остаюсь один в своей комнате и не сплю, а хожу, хожу без устали или читаю до глубокой полночи, с каждой страницей убеждаясь в своем бессилии, в своей узкости. Мучительно это! Когда приезжали из Сколкова, я оживал: ждал от тебя письма, но письма не было, и снова я погружался в эти думы свои. Я подводил итог тому, что я сделал, и в итоге получался ноль… Я сознавал там где-то, в глубине души, что силы есть у

меня, но я не знал, как вызвать их наружу, эти силы, куда их направить. И с отчаянием чувствовал, что ничего я этого не знаю… Но я не мог сказать себе: живи, пока годишься, и смерти жди… Потому не мог сказать, что жажда жизни-то ни разу не утихала во мне, и всем существом своим я ощущал эту жажду, эту потребность жить… Наконец, в который-то раз были из Сколкова и не привезли от тебя писем. Я точно от сна очнулся. Я счел дни и увидал, что письмо должно было быть, что я тебя просил написать поскорей, поскорей… И беспокойство, загоравшееся во мне, на время отогнало мои мысли: я решил дать тебе телеграмму и кстати уж съездить самому в Самару, ехать туда нужно через Сколково. В Сколкове мне Сумкина передала твое письмо от 14, оно где-то завалялось на почте и получено только 21. Я из него увидал, что ты сердишься на меня. Или, лучше сказать, что я тебя огорчил, и тогда же я решил собраться с мыслями и написать тебе все подробно. И как тебе сказать – я сознавал, что я виноват пред тобою, но не мог, физически не мог этим мучиться, потому что та полоса душевного отчаяния забирала меня всего без остатка, и воображение мое не отзывалось ни на что с такою яркостью, как отзывалось оно, рисуя мне мою немощь, бессмысленность моего существования, мою глупую и заносчивую самонадеянность…

Но чувствую, что нужно еще бросить свет на эту психологическую, что ли, возню. Представь ты себе, что ты вечно жила в долине и думала, что весь мир такой же, какой и в долине этой, и вдруг взошла на гору и увидала, что горизонт стелется без конца, и что за горою иной мир, и что все представления твои фальшивы. Ты еще не знаешь подробностей этого нового мира, но ты видишь, что он не такой, каким ты его воображала. А как к нему подойти, к новому-то миру? И ты этого не знаешь.

Учиться, читать, думать много нужно, и прежде всего сбросить с себя это свое величие – умственное свое величие – это свое мнение, что вот де эта правда в кармане у меня. Нужно искать ее. И нужно прежде всего не отрываться от жизни, не смотреть на нее с высоты доктрины готовой, а войти в нее. Вот с этой точки и противен мне теперь Петербург, все эти публицисты, критики, писатели. Нужно войти в жизнь. Но как?

И я теперь знаю, как. Брошу писать, сброшу эту мишурную мантию учителя и уйду в деревню, займусь тихим, не звонким, маленьким и серым делом, буду читать, буду вникать в действительность… Всю громаду моего незнания сознаю, всю огромность моих претензий понимаю теперь, и больно мне, больно…

У меня так и сидит теперь в голове скромный хуторок, да

тишина, да природа вокруг – правдивая и безобманная, да любимая, хорошая, дорогая женка… Я писательство не бросаю, но примусь за него лишь тогда, когда смогу сказать что-нибудь важное и значительное. Если теперь напишу что-либо – напишу для денег, напишу с сознанием, что делаю гадость, напишу для того, чтобы съездить зимой в Петербург и затем уехать с тобой куда-нибудь дальше, дальше… Я бьюсь точно в тенетах, которые не видны мне, но присутствие которых я чувствую, куда ни направится мысль, – всюду ведь туман и гнет. Ах, если бы закрыть глаза да открыть их и ощутить себя где-нибудь в тиши, вдвинутым в эту жизнь, которая теперь проходит перед тобой каким-то загадочным калейдоскопом… но до этой тишины, – и душевной и физической, – сколько возни и тревог!

А.П. Чехов (1860–1904)

Душа моя, ангел, голубчик, умоляю тебя, верь, что я тебя люблю, глубоко люблю…

Почти всю взрослую жизнь литератор Антон Павлович Чехов был практикующим врачом. «Медицина – моя законная жена, а литература – любовница», – говорил он.

Ольга Леонардовна Книппер – первая из всех актрис, сумевшая так четко и ярко передать образ чеховских женщин. Обладая своей неповторимой индивидуальностью и особой, аристократичной манерой исполнения, Книппер-Чехова играла ведущие роли во всех основных пьесах Чехова: «Чайка» (1898, Аркадина), «Дядя Ваня» (1899, Елена Андреевна), «Три сестры» (1901, Маша), «Иванов» (1901, Сарра), лирико-комедийный образ Раневской в пьесе «Вишневый сад» (1901). Первые свидания Ольги Леонардовны с Чеховым проходили на репетициях спектаклей. Ольга Леонардовна вспоминала: «…с той встречи начал медленно затягиваться тонкий и сложный узел моей жизни». С лета 1899 г. между ними началась переписка, продолжавшаяся с перерывами до весны 1904 г. Известно о 443 письмах от Чехова к Книппер и более 400 писем от Книппер к Чехову. Переписка отражает последние годы жизни писателя. 25 мая 1901 г. Антон Павлович и Ольга Леонардовна обвенчались. Брак продолжался до смерти Чехова 2 июля 1904 г.

А. П. Чехов – О. Л. Книппер (Ялта, 27 сентября 1900 года)

Милюся моя Оля, славная моя актрисочка, почему этот тон, это жалобное, кисленькое настроение? Разве в самом деле я так уж виноват? Ну, прости, моя милая, хорошая, не сердись, я не так виноват, как подсказывает тебе твоя мнительность. До сих пор я не собрался в Москву, потому что был нездоров, других причин не было, уверяю тебя, милая, честным словом. Честное слово! Не веришь?

До 10 октября я пробуду еще в Ялте, буду работать, потом уеду в Москву[34] или, смотря по здравию, за границу. Во всяком случае буду писать тебе.

Ни от брата Ивана, ни от сестры Маши нет писем. Очевидно, сердятся, а за что – неизвестно. Вчера был у Средина, застал у него много гостей, все каких-то неизвестных. Дочка его похварывает хлорозом, но в гимназию ходит. Сам он хворает ревматизмом.

Ты же, смотри, подробно напиши мне, как прошла «Снегурочка», вообще, как начались спектакли, какое у вас у всех настроение, как публика и проч. и проч. Ведь ты не то, что я; у тебя очень много материала для писем, хоть отбавляй, у меня же ничего, кроме разве одного: сегодня поймал двух мышей.

А в Ялте все нет дождей. Вот где сухо, так сухо! Бедные деревья, особенно те, что на горах по сю сторону, за все лето не получили ни одной капли воды и теперь стоят желтые; так бывает, что и люди за всю жизнь не получают ни одной капли счастья. Должно быть, это так нужно.

Ты пишешь: «ведь у тебя любящее, нежное сердце, зачем ты делаешь его черствым?» А когда я делал его черствым? В чем,

собственно, я выказал эту свою черствость? Мое сердце всегда тебя любило и было нежно к тебе, и никогда я от тебя этого не скрывал, никогда, никогда, и ты обвиняешь меня в черствости просто так, здорово живешь.

По письму твоему судя в общем, ты хочешь и ждешь какого-то объяснения, какого-то длинного разговора – с серьезными лицами, с серьезными последствиями; а я не знаю, что сказать тебе, кроме одного, что я уже говорил тебе 10 000 раз и буду говорить, вероятно, еще долго, т. е. что я тебя люблю – и больше ничего. Если мы теперь не вместе, то виноваты в этом не я и не ты, а бес, вложивший в меня бацилл, а в тебя любовь к искусству.

Прощай, прощай, милая бабуся, да хранят тебя святые ангелы. Не сердись на меня, голубчик, не хандри, будь умницей. Что в театре нового? Пиши, пожалуйста.

Твой Антон

А. П. Чехов – О. Л. Книппер (Ялта, 7 марта 1901 года)

Я получил анонимное письмо, что ты в Питере кем-то увлеклась, влюбилась по уши. Да и я сам давно уж подозреваю, жидовка ты, скряга. А меня ты разлюбила, вероятно, за то, что я человек не экономный, просил тебя разориться на одну-две телеграммы… Ну, что ж! Так тому и быть, а я все еще люблю тебя по старой привычке, и видишь, на какой бумажке пишу тебе[35].

Скряга, отчего ты не написала мне, что на 4-й неделе остаешься в Петербурге и не поедешь в Москву? А я все ждал и не писал тебе, полагая, что ты поедешь домой.

Я жив и, кажется, здоров, хотя все еще кашляю неистово. Работаю в саду, где уже цветут деревья; погода чудесная, такая же чудесная, как твои письма, которые приходят теперь из-за границы. Последние письма – из Неаполя[36]. Ах, какая ты у меня славная, какая умная, дуся! Я прочитываю каждое письмо по три раза… Итак, работаю в саду, в кабинете же скудно работается, не хочется ничего делать, читаю корректуру и рад, что она отнимает время. В Ялте бываю редко, не тянет туда, зато ялтинцы сидят у меня подолгу, так что я всякий раз падаю духом и начинаю давать себе слово опять уехать или жениться, чтобы жена гнала их, т. е. гостей. Вот получу развод из Екатеринославской губ. и женюсь опять. Позвольте сделать Вам предложение.

Я привез тебе из-за границы духов, очень хороших. Приезжай за ними на Страстной. Непременно приезжай, милая, добрая, славная; если же не приедешь, то обидишь глубоко, отравишь существование. Я уже начал ждать тебя, считаю дни и часы. Это ничего, что ты влюблена в другого и уже изменила мне, я прошу тебя, только приезжай, пожалуйста. Слышишь? Я ведь тебя люблю, знай это, жить без тебя мне уже трудно. Если же у вас в театре затеются на Пасхе репетиции, то скажи Немировичу, что это подлость и свинство.

Сейчас ходил вниз, пил там чай с бубликами. Получил я письмо из Петербурга от академика Кондакова. Он был на «Трех сестрах» – и в восторге неописанном. Ты мне ничего не написала об обедах, которые задавали вам, напиши же хоть теперь, хотя бы во имя нашей дружбы. Я тебе друг, большой друг, собака ты этакая.

Получил сегодня из Киева от Соловцова длинную телеграмму о том, что в Киеве шли «Три сестры», успех громадный, отчаянный и проч. Следующая пьеса, какую я напишу, будет

непременно смешная, очень смешная, по крайней мере по замыслу.

Ну, бабуся, будь здорова, будь весела, не хандри, не тужи. От Яворской и я удостоился: получил телеграмму насчет «Дяди Вани»! Ведь она ходила к вам в театр с чувством Сарры Бернар, не иначе, с искренним желанием осчастливить всю труппу своим вниманием. А ты едва не полезла драться!

Я тебя целую восемьдесят раз и обнимаю крепко. Помни же, я буду ждать тебя. Помни!

Твой иеромонах Антоний

А. П. Чехов – О. Л. Книппер (Ялта, 29 октября 1901 года)

Милая, славная, добрая, умная жена моя, светик мой, здравствуй! Я в Ялте, сижу у себя, и мне так странно! Сегодня были Средины, была женская гимназия, и я уже совсем, с головой, вошел в свою колею, и пустую и скучную. Ну-с, доехал я весьма благополучно, хотя и не следовало бы в Севастополе нанимать лошадей, так как пароход зашел в Ялту. Впрочем, ехал хорошо, быстро, хотя и было холодно… Здесь застал я не холод, а холодище; в пальто было холодно ехать.

Сейчас придет ко мне по делу Татаринова, и я тороплюсь писать. Мать здорова, говорит, что я мог бы еще пожить в Москве. Средин тоже здоров или по крайней мере имеет здоровый вид; все время бранил свою невестку.

Душа моя, ангел, голубчик, умоляю тебя, верь, что я тебя люблю, глубоко люблю; не забывай же меня, пиши и думай обо мне почаще. Что бы ни случилось, хотя бы ты вдруг превратилась в старуху, я все-таки любил бы тебя – за твою душу, за нрав. Пиши мне, песик мой! Береги свое здоровье. Если заболеешь, не дай бог, то бросай все и приезжай в Ялту, я здесь буду ухаживать за тобой. Не утомляйся, деточка.

Получил много своих фотографий из Харькова. Летом приезжал фотограф и снимал меня во всех видах.

Сегодня подавали мне изысканный обед – благодаря твоему письму, вероятно. Куриные котлеты и блинчики. Язык, который мы купили у Полова, испортился в дороге или по крайней мере кажется испортившимся: издает запах.

Господь тебя благословит. Не забывай меня, ведь я твой муж. Целую крепко, крепко, обнимаю и опять целую. Постель кажется мне одинокой, точно я скупой холостяк, злой и старый.

Пиши!!

Твой А.

Не забывай, что ты моя жена, пиши мне каждый день.

Маше поклонись. Конфекты, которые дала мне твоя мама, я ем до сих пор. И ей поклонись.

О. Л. Книппер (1868–1959)

Я, может, пишу глупости, не знаю. Но у меня гвоздем сидит мысль, что мы должны увидеться. Ты должен приехать.

Ольга Леонардовна Книппер-Чехова (9 (21) сентября 1868– 22 марта 1959) – русская актриса, народная артистка СССР (1937), родилась в г. Глазове (ныне Удмуртская республика), но всю сознательную жизнь провела в Москве. Отец – инженер-технолог, мать – профессор Московского филармонического училища.

Окончив филармоническое училище, Ольга поступила на службу в только что созданную труппу Московского Художественного театра, ее партнером по сцене стал великий Станиславский. Первая работа Ольги – роль царицы Ирины в спектакле «Царь Федор Иоаннович» по пьесе А. К. Толстого – принесла актрисе невероятный успех. «Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность – так хорошо, что даже в горле чешется… лучше всех Ирина. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину», – писал после выступления Ольги Антон Чехов. Вскоре после этого между ними началась длительная романтическая переписка.

О. Л. Книппер – А. П. Чехову (Москва, 24 сентября 1900 года)

Отчего ты не едешь, Антон? Я ничего не понимаю. Не пишу, потому что жду тебя, потому что хочу сильно тебя видеть. Что тебе мешает? Что тебя мучает? Я не знаю, что думать, беспокоюсь сильно.

Или у тебя нет потребности видеть меня? Мне страшно больно, что ты так неоткровенен со мной. Все эти дни мне хочется плакать. Ото всех слышу, что ты уезжаешь за границу. Неужели ты не понимаешь, как тяжело мне это слышать и отвечать на миллионы вопросов такого рода?

Я ничего не знаю. Ты пишешь так неопределенно – приеду после. Что это значит? Все время здесь тепло, хорошо, ты бы отлично жил здесь, писал бы, мы могли бы любить друг друга, быть близкими. Нам было бы легче перенести тогда разлуку в несколько месяцев. Я не вынесу этой зимы, если не увижу тебя. Ведь у тебя любящее, нежное сердце, зачем ты его делаешь черствым?

Я, может, пишу глупости, не знаю. Но у меня гвоздем сидит мысль, что мы должны увидеться. Ты должен приехать. Мне ужасна мысль, что ты сидишь один и думаешь, думаешь…

Антон, милый мой, любимый мой, приезжай. Или ты меня знать не хочешь, или тебе тяжела мысль, что ты хочешь соединить свою судьбу с моей? Так напиши мне все это откровенно, между нами все должно быть чисто и ясно, мы не дети с тобой. Говори все, что у тебя на душе, спрашивай у меня все, я на все отвечу. Ведь ты любишь меня? Так надо, чтобы тебе было хорошо от этого чувства и чтобы и я чувствовала тепло, а не непонимание какое-то. Я должна с тобой говорить, говорить о многом, говорить просто и ясно. Скажи, ты согласен со мной?

Я жду тебя изо дня в день. Сегодня открытие нашего театра. Я не играю, буду смотреть с Машей. Горький здесь. Лев Антонович бывает у нас. Мне гадко на душе, мутно и тяжело. Завтра играю «Одиноких», 26-го вступаю в «Снегурку». Мало ем, мало сплю.

Ну, подумай и отвечай твоей Ольге.

Пишу бессвязно – прости.

Император Николай II (1868–1918)

Любовь моя, страшно тебя недостает, так недостает, что невозможно и выразить!

Первая встреча будущего императора Николая Александровича Романова с принцессой Алисой Гессенской состоялась в 1884 г., а спустя несколько лет он делает ей предложение руки и сердца. Цесаревич Николай просит и благословления у своего отца Александра III, но получает отказ, и, не осмелившись его ослушаться, откладывает брак на долгие пять лет. И лишь в 1894 г., когда он сам становится императором, состоится их свадьба.

Бракосочетание молодого царя состоялось менее чем через неделю после похорон Александра III. Их медовый месяц протекал в атмосфере панихид и траурных визитов. Самая нарочитая драматизация не могла бы изобрести более подходящего пролога для исторической трагедии последнего русского царя.

Принцесса Алиса Гессенская после принятия православия берет себе имя Александра Федоровна. Как отмечали современники, Николай II настолько любил свою жену, что был понуждаем ею. Сохранилась почти вся переписка между царственными супругами.

Император Николай II – жене Александре Федоровне (18 ноября 1914 года)

Мое возлюбленное солнышко, душка-женушка. Я прочел твое письмо и чуть не расплакался… На этот раз мне удалось взять себя в руки в момент расставания, но тяжела была борьба… Любовь моя, страшно тебя недостает, так недостает, что невозможно и выразить! Я постараюсь писать очень часто, ибо, к удивлению, убедился, что могу писать во время движения поезда…

Императрица Александра Федоровна – Николаю II (Царское Село, 19 сентября 1914 года)

Мой родной, мой милый, я так счастлива за тебя, что тебе удалось поехать, так как знаю, как глубоко ты страдал все это время – твой беспокойный сон это доказывает… В силу эгоизма, я уже сейчас страдаю от разлуки. Мы не привыкли разлучаться… И притом, я так бесконечно люблю моего драгоценного мальчика. Вот уже 20 лет, как я – твоя, и каким блаженством были все эти годы… Я поцеловала твою подушку. Мысленно вижу тебя лежащим в твоем купе и мысленно осыпаю поцелуями твое лицо…

А. В. Колчак (1874–1920)

Для меня нет другой радости, как думать о Вас… смотреть на Ваши фотографии и мечтать о том неизвестном времени и обстановке, когда я Вас снова увижу.

Анна Васильевна Тимирева и Александр Васильевич Колчак познакомились в 1915 г. в Гельсингфорсе, куда перевели из Петрограда ее мужа, капитана I ранга Сергея Тимирева.

Она первой призналась ему в любви: «Я сказала ему, что люблю его». И он, уже давно и, как ему казалось, безнадежно влюбленный, ответил: «Я не говорил вам, что люблю вас. Я вас больше чем люблю». Ей было 22 года, ему – 41, и к моменту их встречи Колчак успел исследовать воды четырех океанов и двадцати морей, объехал вокруг Земли, выпустил две книги, заслужил ряд русских и иностранных орденов. Между их первой встречей и последней – пять лет. Большую часть этого времени они жили порознь, у каждого – своя семья. Месяцами и даже годами не виделись, писали письма. Окончательно решив соединиться с Колчаком, Тимирева объявила мужу о своем намерении «всегда быть вблизи Александра Васильевича». Вместе с Колчаком она и была арестована, проведя большую часть своей жизни в ссылке.

А. В. Колчак – А. В. Тимиревой (Лето 1916 года)

Прошло два месяца, как я уехал от Вас, моя бесконечно дорогая, и так [еще] жива передо мной картина нашей встречи, так же мучительно и больно, как будто это было вчера, на душе… без Вас моя жизнь не имеет ни того смысла, ни той цели, ни той радости. Вы были для меня в жизни больше, чем сама жизнь, и продолжать ее без Вас мне невозможно.

А. В. Колчак – А. В. Тимиревой (9 мая 1917 года)

…В минуту усталости или слабости моральной, когда сомнение переходит в безнадежность, когда решимость сменяется колебанием, когда уверенность в себе теряется и создается тревожное ощущение несостоятельности, когда все прошлое кажется не имеющим никакого значения, а будущее представляется совершенно бессмысленным и бесцельным, в такие минуты я прежде всегда обращался к мыслям о Вас, находя в них и во всем, что связывалось с Вами, с воспоминаниями о Вас, средство преодолеть это состояние.

А. В. Колчак – А. В. Тимиревой (6 июня 1917 года)

Только о Вас, Анна Васильевна, мое божество, мое счастье, моя бесконечно дорогая и любимая, я хочу думать о Вас, как это делал каждую минуту своего командования. Я не знаю, что будет через час, но я буду, пока существую, думать о моей звезде, о луче света и тепла – о Вас, Анна Васильевна. Как хотел бы я увидеть Вас еще раз, поцеловать ручки Ваши.

А. В. Колчак – А. В. Тимиревой (8/21 августа 1917 года)

Для меня нет другой радости, как думать о Вас, вспоминать редкие встречи с Вами, смотреть на Ваши фотографии и мечтать о том неизвестном времени и обстановке, когда я Вас снова увижу. Это единственное доказательство, что надежда на мое счастье существует… Когда-нибудь я получу от Вас несколько слов, которые так бесконечно для меня дороги, как все, что связано с Вами.

А. В. Колчак – А. В. Тимиревой (Август 1917 года)

Моя милая, дорогая, обожаемая Анна Васильевна. Господи, как Вы прелестны на Ваших маленьких изображениях, стоящих передо мною теперь. Последняя фотография Ваша так хорошо передает Вашу милую незабываемую улыбку, с которой у меня соединяется представление о высшем счастье, которое может дать жизнь, о счастье, которое может явиться наградой только за великие подвиги. Как далек я от них, как ничтожно кажется все сделанное мною перед этим счастьем, перед этой наградой…

А. В. Колчак – А. В. Тимиревой (29 апреля 1918 года)

Дорогая, милая, обожаемая Анна Васильевна. …У меня нет слов, нет умения ответить Вам; менее всего я мог предполагать, что Вы… так близко от меня. Получив письмо Ваше, я… отложил его на несколько часов, не имея решимости его прочесть. Несколько раз я брал письмо в руки и у меня не хватало сил начать его читать. Что это, сон или одно из тех странных явлений, которыми дарила меня судьба. Ведь это ответ на мои фантастические мечтания о Вас – мне делается почти страшно, когда я вспоминаю последние. Анна Васильевна, правда ли это или я, право, не уверен, существует ли оно в действительности или мне только так кажется.

N
NE
E
SE
S
SW
W
NW

А. В. Тимирева – А. В. Колчаку

Полвека не могу принять,
Ничем нельзя помочь,
И все уходишь ты опять
В ту роковую ночь.

А я осуждена идти,
Пока не минет срок,
И перепутаны пути
Исхоженных дорог.

Но если я еще жива,
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя
И память о тебе.

А. В. Тимирева – А. В. Колчаку (7 марта 1918 года)

Милый Александр Васильевич, далекая любовь моя… Я думаю о Вас все время, как всегда, друг мой, Александр Васильевич, и в тысячный раз после Вашего отъезда благодарю Бога, что Он не допустил Вас быть ни невольным попустителем, ни благородным и пассивным свидетелем совершающегося гибельного позора. Я так часто и сильно скучаю без Вас, без Ваших писем, без ласки Ваших слов, без улыбки моей безмерно дорогой химеры.

А. В. Тимирева – А. В. Колчаку (21 марта 1918 года)

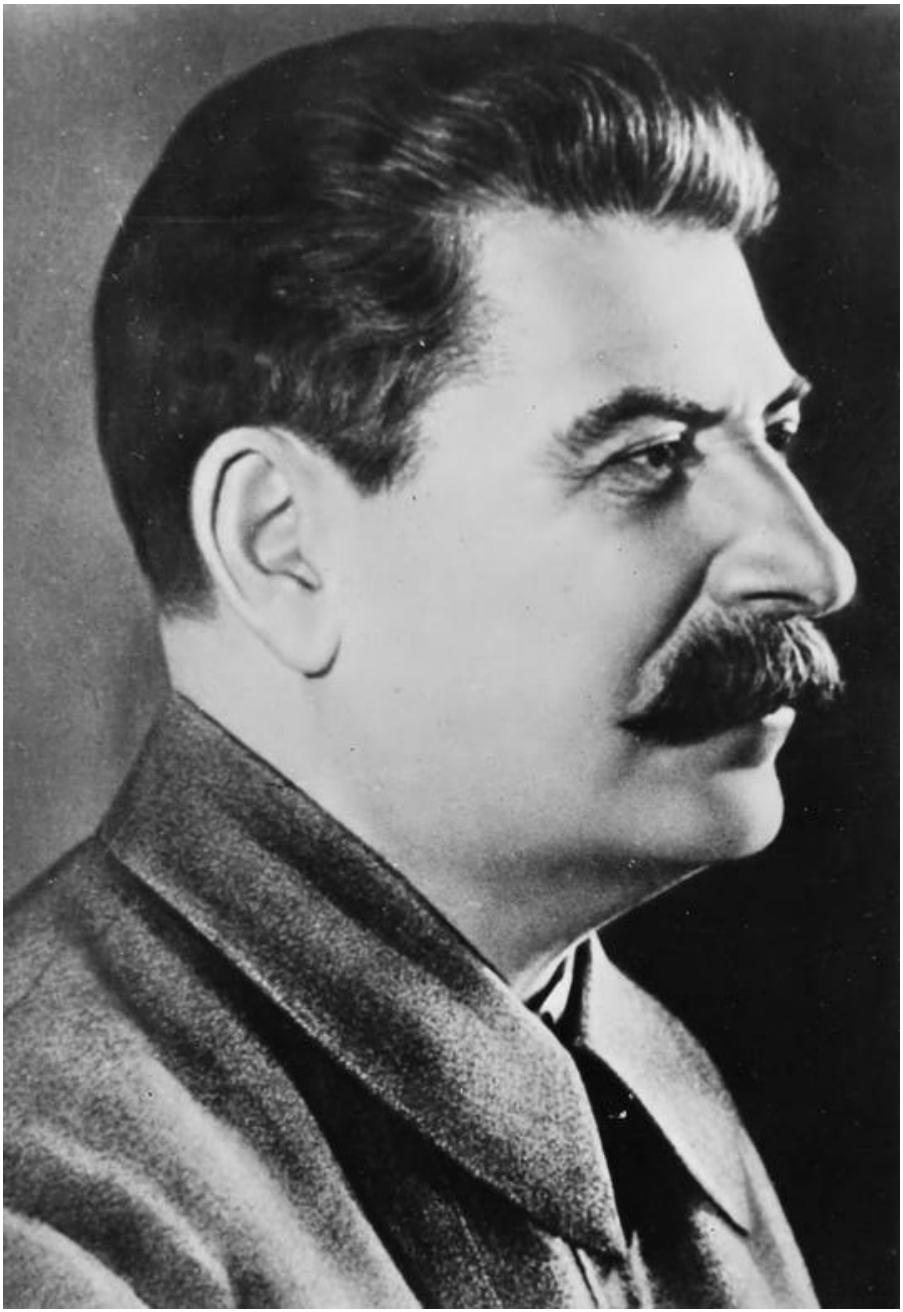
…Где Вы, радость моя, Александр Васильевич? На душе темно и тревожно. Я редко беспокоюсь о ком-нибудь, но сейчас я точно боюсь и за Вас, и за всех, кто мне дорог… Господи, когда я увижу Вас, милый, дорогой, любимый мой Александр Васильевич. Да хранит Вас Господь, друг мой дорогой, и пусть Он поможет Вам в Ваши тяжкие дни. До свидания – если бы поскорей.

А. В. Тимирева – А. В. Колчаку (17 сентября 1918 года)

…Милый Александр Васильевич, я буду очень ждать, когда Вы напишете мне, что можно ехать, надеюсь, что это будет скоро. А пока до свиданья, милый, будьте здоровы, не забывайте меня и не грустите и не впадайте в слишком большую мрачность от окружающей мерзости. Пусть Господь Вас хранит и будет с Вами. Я не умею целовать Вас в письме.

А. В. Тимирева – А. В. Колчаку

Но я же живая и совсем не умею жить, когда кругом одно сплошное и непроглядное уныние. И потому, голубчик мой, родной Александр Васильевич, я очень жду Вас, и Вы приезжайте скорее и будьте таким милым, как Вы умеете быть, когда захотите, и каким я Вас люблю.



И. В. Сталин (1878–1953)

Попрекнуть тебя в чем-либо насчет заботы обо мне могут лишь люди, не знающие дела.

Иосиф Виссарионович Сталин встретил Надежду Сергеевну Аллилуеву сразу после возвращения из сибирской ссылки. Ему было уже 37 лет, а ей всего 16. Их отношения быстро переросли в бурный роман, и в 1918 г. они поженились. Но жизнь со Сталиным оказалась слишком сложна для молодой революционерки. В 1932 г. Надежда заканчивает жизнь самоубийством. Любовь Сталина, как и его характер, были чересчур тяжелы, но он так и не смог простить себе гибель жены. Он часто приходил на кладбище и часами просиживал у могилы любимой.

И. В. Сталин – Н. С. Аллилуевой (8 сентября 1930 года)

Татька!

Письмо получил. Книги тоже. Английского самоучителя Московского (по методу Розенталя) у меня здесь не оказалось. Поищи хорошенько и пришли. К лечению зубов уже приступил. Удалили негодный зуб, обтачивают боковые зубы, и вообще работа идет вовсю. Врач думает кончить все мое зубное дело к концу сентября. Никуда не ездил и ездить не собираюсь. Чувствую себя лучше. Определенно поправляюсь. Посылаю тебе лимоны. Они тебе понадобятся. Как дела с Васькой, Сатанкой? Целую крепко, много, очень много.

Твой Иосиф

Н. С. Аллилуева – И.В. Сталину (12 сентября 1930 года)

Здравствуй, Иосиф!

Письмо получила. За лимоны спасибо, конечно, пригодятся. Живем неплохо, но совсем уже по-зимнему – сегодня ночью было минус 7 по Цельсию. Утром все крыши были совершенно белые от инея.

Очень хорошо, что ты греешься на солнце и лечишь зубы. Вообще же Москва вся шумит, стучит, разрыта и т. п., но все же постепенно все налаживается.

Настроение у публики (в трамваях и в др. общественных местах) сносное – жужжат, но не зло. Всех нас в Москве развлек прилет Цеппелина: зрелище было действительно достойно внимания. Глазела вся Москва на эту замечательную машину.

По поводу стихотворца Демьяна все скулили, что мало пожертвовал, мы отчислили однодневный заработок.

Видела новую оперу «Алмас», где Максакова совершенно исключительно станцевала лезгинку (армянскую), я давно не видела танца, так художественно выполненного. Тебе, думаю, очень понравится танец, да и опера. Да, все же как я ни искала твоего экземпляра учебника, не нашла, посылаю другой экземпляр. Не сердись, но нигде не нашла. В Зубалове паровое отопление уже работает и вообще все в порядке, очевидно, скоро закончат.

В день прилета Цеппелина Вася на велосипеде ездил из Кремля на аэродром через весь город. Справился неплохо, но, конечно, устал. Очень умно делаешь, что не разъезжаешь, это во всех отношениях рискованно.

Целую тебя.

Надя

Н. С. Аллилуева – И. В. Сталину (19 сентября 1930 года)

Здравствуй, Иосиф!

Как твое здоровье? Приехавшие т.т. (Уханов и еще кто-то) рассказывают, что ты очень плохо выглядишь и чувствуешь себя. Я же знаю, что ты поправляешься (это из писем). По этому случаю на меня напали Молотовы с упреками, как это я могла оставить тебя одного и тому подобные, по сути совершенно справедливые, вещи. Я объяснила свой отъезд занятиями, по существу же это, конечно, не так. Это лето я не чувствовала, что тебе будет приятно продление моего отъезда, а наоборот. Прошлое лето это очень чувствовалось, а это нет. Оставаться же с таким настроением, конечно, не было смысла, т. к. это уже меняет весь смысл и пользу моего пребывания. И я считаю, что упреков я не заслужила, но в их понимании, конечно, да. На днях была у Молотовых, по его предложению, проинформироваться. Это очень хорошо. Т. к. иначе я знаю только то, что в печати. В общем приятного мало. Насчет же твоего приезда Авель говорит т.т., я его не видела, что вернешься в конце октября; неужели ты будешь сидеть там так долго? Ответь, если не очень недоволен будешь моим письмом, а, впрочем, как хочешь.

Всего хорошего. Целую.

Надя

И. В. Сталин – Н. С. Аллилуевой (24 сентября 1930 года)

Татька!

Получил посылку от тебя. Посылаю тебе персики с нашего дерева. Я здоров и чувствую себя как нельзя лучше. Возможно, что Уханов видел меня в тот самый день, когда Шапиро поточил у меня восемь (8!) зубов сразу, и у меня настроение было тогда, возможно, неважное. Но этот эпизод не имеет отношения к моему здоровью, которое я считаю поправившимся коренным образом.

Попрекнуть тебя в чем-либо насчет заботы обо мне могут лишь люди, не знающие дела. Такими людьми и оказались в данном случае Молотовы. Скажи от меня Молотовым, что они ошиблись насчет тебя и допустили несправедливость. Что касается твоего предположения насчет нежелательности твоего пребывания в Сочи, то твои попреки также несправедливы, как несправедливы попреки Молотовых насчет тебя. Так, Татька.

Я приеду, конечно, не в конце октября, а много раньше, в середине октября, как я говорил тебе в Сочи. В видах конспирации я пустил слух через Поскребышева о том, что смогу приехать лишь в конце октября. Авель, видимо, стал жертвой такого слуха. Не хотелось бы, чтобы ты стала звонить об этом. О сроке моего приезда знают Татька, Молотов и, кажется, Серго.

Ну, всего хорошего. Целую крепко и много.

P.S. Как здоровье ребят?

Твой Иосиф

Н.С. Аллилуева – И. В. Сталину (30 сентября 1930 года)

Здравствуй, Иосиф!

Еще раз начинаю с того же – письмо получила. Очень рада, что тебе хорошо на южном солнце. В Москве сейчас тоже неплохо, погода улучшилась, но в лесу определенная осень. День проходит быстро. Пока все здоровы. За восемь зубов молодец. Я же соревнуюсь с горлом, сделал мне профессор Свержевский операцию, вырезал 4 куска мяса, пришлось полежать четыре дня, а теперь я, можно сказать, вышла из полного ремонта. Чувствую себя хорошо, даже поправилась за время лежания с горлом.

Персики оказались замечательными. Неужели это с того дерева? Они замечательно красивы. Теперь тебе при всем нежелании, но все же скоро придется возвращаться в Москву, мы тебя ждем, но не торопим, отдыхай получше.

Привет. Целую тебя.

Надя

P.S. Да, Каганович квартирой очень остался доволен и взял ее. Вообще был тронут твоим вниманием. Сейчас вернулась с конференции ударников, где говорил Каганович. Очень неплохо, а также Ярославский. После была «Кармен» – под управлением Голованова, замечательно.

Н. А.

Н. С. Аллилуева – И. В. Сталину (6 октября 1930 года)

Что-то от тебя никаких вестей в последнее время. Справлялась у Двинского о почте, сказал, что давно не было. Наверное, путешествие на перепелов увлекло, или просто лень писать.

А в Москве уже вьюга снежная. Сейчас кружит вовсю. Вообще погода очень странная, холодно. Бедные москвичи зябнут, т. к. до 15.X. Москвотоп дал приказ не топить.

Больных видимо-невидимо. Занимаемся в пальто, так как иначе все время нужно дрожать. Вообще же у меня дела идут неплохо. Чувствую себя тоже совсем хорошо. Словом, теперь у меня прошла уже усталость от моего «кругосветного» путешествия, и вообще дела, вызвавшие всю эту суетню, также дали резкое улучшение.

О тебе я слышала от молодой интересной женщины, что ты выглядишь великолепно, она тебя видела у Калинина на обеде, что замечательно был веселый и тормошил всех, смущенных твоей персоной. Очень рада.

Ну, не сердись за глупое письмо, но не знаю, стоит ли тебе писать в Сочи о скучных вещах, которых, к сожалению, достаточно в московской жизни. Поправляйся.

Всего хорошего. Целую.

Надя

P.S. Зубалово абсолютно готово, очень, очень хорошо вышло.

И. В. Сталин – Н. С. Аллилуевой (8 октября 1930 года)

Татька!

Получил твое письмо.

Ты что-то в последнее время начинаешь меня хвалить. Что это значит? Хорошо или плохо?

Новостей у меня, к сожалению, никаких. Живу неплохо, ожидаю лучшего. У нас тут испортилась погода, будь она проклята. Придется бежать в Москву.

Ты намекаешь на какие-то мои поездки. Сообщаю, что никуда (абсолютно никуда!) не ездил и ездить не собираюсь.

Целую очень много, крепко много.

Твой Иосиф

М. И. Цветаева (1892–1941)

Я в первый раз люблю счастливого, и, может быть, в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть!

Марина Ивановна Цветаева – талантливая, независимая, неординарная поэтесса со сложной судьбой. В ее жизни были и творческие восхождения, известность, и полное забвение, крайняя бедность. Была в ее жизни большая любовь (муж Сергей Эфрон) и множество влюбленностей. Среди них К. Б. Родзевич, подруга София Парнок («…любить только мужчин – какая жуть!»), Борис Пастернак и другие.

В январе 1924 г. Цветаевой была написана «Поэма Горы», а в первой половине июня она завершила «Поэму Конца». В первой поэме отражен роман Цветаевой с русским эмигрантом, знакомым мужа К.Б. Родзевичем, во второй – их окончательный разрыв. Недолгий роман Цветаевой и Родзевича в 1923 г. длился не более трех месяцев. Цветаева воспринимала любовь к Родзевичу как преображение души, как ее спасение. «Вы сделали надо мной чудо, я в первый раз ощутила единство неба и земли. Вы – мое спасение и от смерти, и от жизни, Вы – жизнь», – писала она возлюбленному. Родзевич так вспоминал об этой любви: «Мы сошлись характерами – отдавали себя полностью. В наших отношениях было много искренности, мы были счастливы». Требовательность Цветаевой к возлюбленному и свойственное ей сознание кратковременности абсолютного счастья и неразрывности любящих привели к расставанию, произошедшему по ее инициативе.

М. И. Цветаева – К. Б. Родзевичу (22 сентября 1923 года)

…Арлекин! – Так я Вас окликаю. Первый Арлекин за жизнь, в которой не счесть – Пьеро! Я в первый раз люблю счастливого, и, может быть, в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть! Я в Вас чувствую силу, этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня – хаос! – а лучшую меня, главную меня. Я никогда не давала человеку права выбора: или все – или ничего, но в этом все – как в первозданном хаосе – столько, что немудрено, что человек пропадал в нем, терял себя и в итоге меня…

Вы сделали надо мной чудо, я в первый раз ощутила единство неба и земли. О, землю я и до Вас любила: деревья! Все любила, все любить умела, кроме другого, живого. Другой мне всегда мешал, это была стена, об которую я билась, я не умела с живыми! Отсюда сознание: не – женщина – дух! Не жить – умереть. Вокзал.

Милый друг. Вы вернули меня к жизни, в которой я столько раз пыталась и все-таки ни часу не сумела жить. Это была – чужая страна. О, я о Жизни говорю с заглавной буквы, – не о той, петитом, которая нас сейчас разлучает! Я не о быте говорю, не о маленьких низостях и лицемериях, раньше я их ненавидела, теперь просто – не вижу, не хочу видеть. О, если бы Вы остались со мной, Вы бы научили меня жить – даже в простом смысле слова: я уже две дороги знаю в Праге! (На вокзал и в костел.) Друг, Вы поверили в меня, Вы сказали: «Вы все можете», и я, наверное, все могу. Вместо того, чтобы восхищаться моими земными недугами, Вы, отдавая полную дань иному во мне, сказали: «Ты еще живешь. Так нельзя», – и так действительно

нельзя, потому что мое пресловутое «неумение жить» для меня – страдание. Другие поступали как эстеты: любовались, или как слабые: сочувствовали. Никто не пытался излечить. Обманывала моя сила в других мирах; сильный там – слабый здесь. Люди поддерживали во мне мою раздвоенность. Это было жестоко. Нужно было или излечить – или убить. Вы меня просто полюбили…

…Люблю Ваши глаза… Люблю Ваши руки, тонкие и чуть холодные в руке. Внезапность Вашего волнения, непредугаданность Вашей усмешки. О, как Вы глубоко-правдивы! Как Вы, при всей Вашей изысканности – просты! Игрок, учащий меня человечности. О, мы с Вами, быть может, оба не были людьми до встречи! Я сказала Вам: есть – Душа, Вы сказали мне: есть – Жизнь.

Все это, конечно, только начало. Я пишу Вам о своем хотении (решении) жить. Без Вас и вне Вас мне это не удастся. Жизнь я могу полюбить через Вас. Отпустите – опять уйду, только с еще большей горечью. Вы мой первый и последний ОПЛОТ (от сонмов!) Отойдете – ринутся! Сонмы, сны, крылатые кони… И не только от сонмов – оплот: от бессонниц моих, всегда кончающихся чьими-то губами на губах.

Вы – мое спасение и от смерти и от жизни, Вы – Жизнь (Господи, прости меня за это счастье!)

Воскресение, нет – уже понедельник! – 3-ий час утра.

Милый, ты сейчас идешь по большой дороге, один, под луной. Теперь ты понимаешь, почему я тебя остановила на: любовь – Бог. Ведь это же, точно этими же словами, я тебе писала вчера ночью, перечти первую страницу письма.

Я тебя люблю.

Друг, не верь ни одному моему слову насчет других. Это – последнее отчаяние во мне говорит. Я не могу тебя с другой, ты мне весь дорог, твои губы и руки так же, как твоя душа. О, ничему в тебе я не отдаю предпочтения: твоя усмешка, и твоя мысль, и твоя ласка – все это едино и неделимо, и не дели. Не отдавай меня (себя) зря. Будь мой.

Беру твою черную голову в две руки. Мои глаза, мои ресницы, мои губы (о, помню! Начало улыбки! Губы чуть раздвинутся над блеском зубов: сейчас улыбнетесь: улыбаетесь!)

Друг, помни меня.

Я не хочу воспоминаний, не хочу памяти, вспоминать то же, что забывать, руку свою не помнят, она есть. Будь! Не отдавай меня без боя! Не отдавай меня ночи, фонарям, мостам, прохожим, всему, всем. Я тебе буду верна. Потому что я никого другого не хочу, не могу (не захочу, не смогу). Потому что то мне даешь, что

ты мне дал, мне никто не дает, а меньшего я не хочу. Потому что ты один такой.

Мой Арлекин, мой Авантюрист, моя Ночь, мое счастье, моя страсть. Сейчас лягу и возьму тебя к себе. Сначала будет так: моя голова на твоем плече, ты что-то говоришь, смеешься. Беру твою

руку к губам – отнимаешь – не отнимаешь – твои губы на моих, глубокое прикосновение, проникновение – смех стих, слов – нет – и ближе, и глубже, и жарче, и нежней – и совсем уже невыносимая нега, которую ты так прекрасно, так искусно длишь.

Прочти и вспомни. Закрой глаза и вспомни. Твоя рука на моей груди, – вспомни.

Прикосновение губ к груди. <…>

Друг, я вся твоя.

А потом будешь смеяться и говорить и засыпать, и когда я ночью сквозь сон тебя поцелую, ты нежно и сразу потянешься ко мне, хотя и не откроешь глаз.

М.

В. В. Маяковский (1893–1930)

Лиличка, мне все кажется, что ты передумала меня видеть, только сказать этого как-то не решаешься – жалко.

Поэт-футурист, критик, художник, Владимир Владимирович Маяковский был неординарным человеком не только в творчестве, но и в любви.

Заочное знакомство Лили Брик с Владимиром Маяковским началось еще в 1913 г., когда оба были много друг о друге наслышаны (В. Маяковский на тот момент ухаживал за младшей сестрой Лили – Эльзой). В конце июля 1915 г. Эльза поехала в Петроград к сестре и пришла с Маяковским в квартиру на улице Жуковского, где и познакомила семью Бриков с поэтом. В этот день Маяковский читает свою не опубликованную еще поэму «Облако в штанах» и посвящает ее Лиле Брик. Этот факт удивляет, ведь роман поэта был с Эльзой, которая сидела рядом, в той же комнате.

Дальше Маяковский почти все свои стихи посвящает Лиле, пишет для нее поэму «Люблю». В это же время образовался любовный треугольник Лиля Брик – ее муж Ося – Маяковский. Их друзья с ужасом наблюдали «жизнь втроем». Троица жила вместе несколько лет, постоянно, не разъезжаясь. Однако это обстоятельство не мешало Владимиру Маяковскому без ума любить Лилю.

Лиля Брик (1891–1978)

«Любимая женщина Маяковского» – так можно сказать о писательнице Лиле Юрьевне Брик (до брака Каган). Будучи еще шестнадцатилетней девчонкой, она «страстно и навеки» влюбилась в своего будущего мужа Осипа Брика.

В 1915 г. в жизни Лили Брик появляется Маяковский. Отношениям жены с поэтом муж Осип, всем на удивление, не препятствует.

«Это было нападение, Володя не просто влюбился в меня, он напал на меня. Два с половиной года не было у меня спокойной минуты – буквально. И хотя фактически мы с Осипом Максимовичем жили в разводе, я сопротивлялась поэту. Меня пугали его напористость, рост, его громада, неуемная, необузданная страсть. Любовь его была безмерна. Володя влюбился в меня сразу и навсегда», – напишет в своем дневнике на закате жизни Лиля Брик.

В. В. Маяковский – Лиле Брик

Лиличка, мне все кажется, что ты передумала меня видеть, только сказать этого как-то не решаешься – жалко.

Прав ли я? Если не хочешь – напиши сейчас, если ты это мне скажешь 28-го (не увидев меня), я этого не переживу. Ты совсем не должна меня любить, но ты скажи мне об этом сама, прошу. Конечно, ты меня не любишь, но ты мне скажи это немного ласково. Иногда мне кажется, что мне придумана такая казнь – послать меня к черту 28-го.

Детик, ответь (это как раз «очень нужно»). Я подожду внизу. Никогда, никогда в жизни я больше не буду таким. И нельзя. Детик, если черкнешь, я уже до поезда успокоюсь. Только напиши – верно, правду!

Целую.

Твой Щен

Мы условились 28 февраля поехать вместе в Ленинград.

Лиля Брик – В. В. Маяковскому в Москву (Рига, конец октября 1921 года)

Любимый мой Щеник! Не плачь из-за меня! Я тебя ужасно крепко и навсегда люблю! Приеду непременно! Приехала бы сейчас, если бы не было стыдно. Жди меня! Не изменяй!!! Я ужасно боюсь этого. Я верна тебе абсолютно. Знакомых у меня теперь много, есть даже поклонники, но мне никто, нисколько не нравится. Все они по сравнению с тобой – дураки и уроды! Вообще ты мой любимый щен, чего уж там! Каждый вечер целую твой переносик! […] Приеду добрая. Спасибо тебе, родненький, за хлопоты – возможно, что они мне пригодятся, хотя я теперь думаю, что все устроится и без этого. Напиши для меня стихи […].

Целую тебя с головы до лап.

Твоя, твоя, твоя Лиля

Лиля Брик – В. В. Маяковскому в Москву (Рига, конец декабря 1921 года)

Волосик, Щеник, щенятка, зверик, скучаю по тебе немыслимо! С новым годом, Солнышко! Ты мой маленький громадик! Мине тибе хочется! А тибе?

Если стыдно писать в распечатанном конверте – пиши по почте: очень аккуратно доходит. Целую переносик и родные лапики и вообще все целую.

Твоя Лиля

С. А. Есенин (1895–1925)

Галя милая! Повторяю Вам, что Вы очень и очень мне дороги. Да и сами Вы знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного.

Сергей Александрович Есенин слыл ловеласом, покорителем дамских сердец. В общительного, доброго, искреннего, талантливого поэта с золотыми кудрями могла влюбиться каждая.

Однажды на одном из литературных вечеров в Москве Сергей Есенин впервые познакомился с Галиной Бениславской, которая вскоре вошла в круг близких Есенину людей. Некоторое время Есенин жил у Бениславской. 3 октября 1921 г. после знакомства с танцовщицей Айседорой Дункан Есенин ушел от Бениславской. Галина не выдержала разлуки, заболела, попала в клинику нервных болезней.

После разрыва с Айседорой Есенин вернулся из-за границы и вновь поселился у Г. Бениславской в ее квартире в Брюсовском переулке. Летом 1925 г. перед женитьбой на С. А. Толстой Есенин порвал отношения с Г. А. Бениславской. Она тяжело переживала это, лечилась от нервного расстройства, на время уезжала из Москвы. Не было ее в Москве и во время похорон Есенина.

В декабре 1926 г. она покончила с собой на могиле Есенина на Ваганьковском кладбище, оставив записку: «3 декабря 1926 г. Самоубилась здесь, хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина… Но и ему, и мне это все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое…»

С. А. Есенин – Г. А. Бениславской (Ленинград, 15 апреля 1924 года)

Галя милая! Простите, что пишу на такой бумаге. Нет лучше.

Я очень и очень извиняюсь, что уехал, не простясь с Вами. Уехал же я потому, что боялся, как бы Петербург не остался для меня дальше Крыма.

Галя милая! Я очень люблю Вас и очень дорожу Вами. *Дорожу Вами очень*, поэтому не поймите отъезд мой как что-нибудь направленное в сторону друзей от безразличия. Галя милая! Повторяю Вам, что Вы очень и очень мне дороги. Да и сами Вы знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного. Сейчас я решил остаться жить в Питере. Никакой Крым и знать не желаю.

Дорогая, уговорите Вардина и Берзину так, чтоб они не думали, что я отнесся к их вниманию по-расплюевски.

Все мне было очень и очень приятно в их заботах обо мне, но я совершенно не нуждаюсь ни в каком лечении. Если у Вас будет время, то приезжайте и привезите мне большой чемодан *или* пошлите с ним Приблудного или Риту. Привет Вам и любовь моя!

Правда, это гораздо лучше и больше, чем чувствую к женщинам.

Вы мне в жизни без этого настолько близки, что и выразить нельзя. Жду от Вас письма, приезда и всего прочего.

Деньги из Госиздата спрячьте под спуд. Любящий Вас

Сергей Есенин.

Вечер прошел изумительно. Меня чуть не разорвали.

notes

Примечания

1

Здесь говорится о Платоне Александровиче Зубове.

2

Тут, конечно, говорится об одах на победы в Польше.

3

Павла Владимировна – новая жена племянника Н. И. Новикова – Н. И. Хрущева, на которой он женился летом 1807 г.

4

Сброд (*фр.*).

5

Смеюсь от безысходности (*фр.*).

6

Решительный удар (*фр.*).

7

Как любовника (*фр.*).

8

Любить бескорыстно и целомудренно (*фр.*).

9

Дитя природы (*нем.*).

Силам природы (*нем.*).

11

Это мило (*фр.*).

Душевной жизни (*нем.*).

13

Бакуниных.

14

Сокольники.

15

Боткин.

Признаний (*фр.*).

17

Мои поклоны госпоже (*фр.*).

18

Весь Ваш (*фр.*).

19

Нужно ли ставить точки над i? (*фр.*).

20

О вещах наиболее верных и т. д. (*фр.*).

Последовательностью (*лат.*).

Мягком корсете; от *фр*. – ленивая.

23

Кстати (*фр.*).

Итог (*фр.*).

25

Увеселительные прогулки, развлечения (*фр.*).

Тысяча приветов (*нем.*).

27

Ваш (*нем.*).

Политический пафос (*нем.*).

Человек не рожден быть свободным (*нем.*).

30

Добро пожаловать, любимая! После семи лет дружбы добро пожаловать в этот святой для меня день! (*нем.*)

31

Самая дорогая, любимая, лучшая женщина (*нем.*).

32

Давид Тенирс – фламандский живописец XVII века.

33

Сильно пахнущие духи из эфирного масла, добываемого из листьев одноименного тропического растения. – *Примеч. ред.*

34

Чехов выехал из Ялты в Москву 21 октября 1900 г.

35

После даты перед текстом письма рисунок неизвестной рукой: цветок чертополоха.

36

Письма Книппер, посланные Чехову за границу.